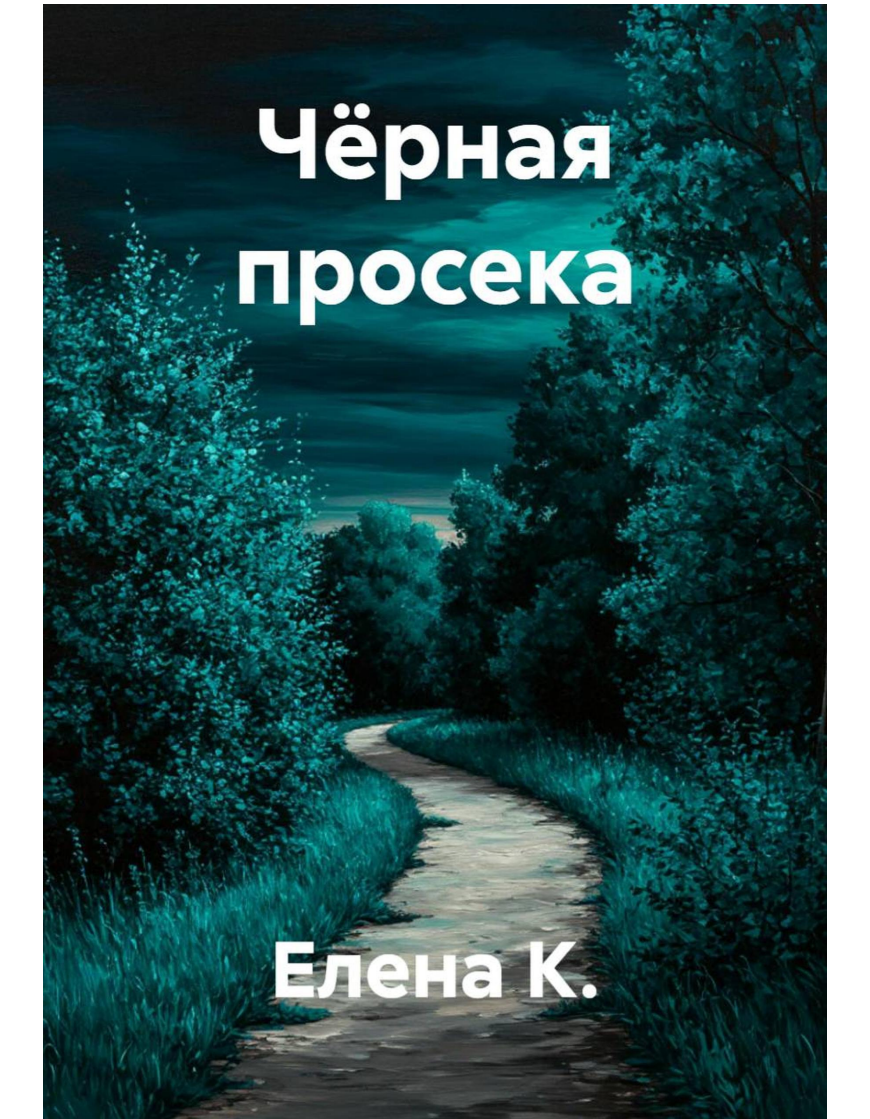




Чёрная просека

Елена К.

Елена К.

Чёрная просека

<https://litres.ru/74416022>

SelfPub; 2026

Аннотация

Полина видит то, что скрыто от других: нити, связывающие мир, и места, где они рвутся. Когда древние стражи один за другим начинают пробуждаться, она понимает — барьер между миром людей и первозданной тьмой больше не держит.

Вместе с отцом Игорем, матерью Ларисой и теми, кого судьба привела на их путь, Полина отправляется туда, откуда не возвращаются. Через испытания Макоши и Яги, через холод Мораны и равнодушие Лиха, через память Велеса и силу Перуна — к сердцу тьмы, где ждёт Мрак. И именно его невозможно победить силой.

История о людях, которые прошли через всех богов — и остались людьми. О силе, которая не разрушает, и о поражении, которое не уничтожает. Для тех, кто ищет в мифах не сказку, а правду о том, как трудно остаться собой, когда мир требует стать кем-то другим.

Содержание

Глава о совпадениях.	4
Дорогой читатель!	5
Прежде чем ты погрузишься в эту историю, позволь мне сказать одну важную вещь: все совпадения в книге случайны. Абсолютно все. Серьёзно. Даже те, которые выглядят так, будто их выстраивали по линейке, сверяли с гороскопом и трижды перечитывали у гадалки.	5
Глава 1. «Мост, который не хотел, чтобы его чинили»	5
Глава 2. «Дом, который переваривал»	12
Глава 3. «То, что спускалось»	25
Глава 4. «Та, которая осталась»	40
Глава 5. «Дорога, которая не хочет отпускать»	63
Глава 6. «Сердце, которое бьётся снизу»	72
Конец ознакомительного фрагмента.	80

Чёрная просека

Глава о совпадениях.

Дорогой читатель!

Прежде чем ты погрузишься в эту историю, позволь мне сказать одну важную вещь: все совпадения в книге случайны. Абсолютно все. Серьёзно. Даже те, которые выглядят так, будто их выстраивали по линейке, сверяли с гороскопом и трижды перечитывали у гадалки.

Глава 1. «Мост, который не хотел, чтобы его чинили»

Игорь Костин ненавидел командировки. Особенно такие, где навигатор сначала бодро ведёт тебя по трассе, потом начинает сомневаться, а на сороковом километре вообще делает вид, что никогда не слышал про этот населённый пункт.

— «Маршрут перестроен», — пробормотал Игорь, глядя на экран телефона, который теперь настойчиво предлагал

ему вернуться к цивилизации и «посетить уютный ресторанчик с домашней кухней». — Да я бы с радостью, — буркнул он, выжимая сцепление на очередном ухабе. — Но у меня тут семья пропала. А не ужин с комплиментом от шефповара.

Машина подпрыгнула, будто сама хотела сказать: «А может, ну его, этот мост? Давай развернёмся?»

Мост был. Или, точнее, то, что от него осталось: несколько гнилых балок, торчащих из воды, как сломанные зубы. Рядом валялся ржавый знак «Осторожно: аварийный участок», причём «осторожно» было наполовину стёрто, так что оставалось только «рожно» — будто сама местность не хотела пугать людей всерьёз, а предпочитала действовать исподтишка.

Игорь вышел из машины, вдохнул сырой воздух и тут же пожалел об этом. Пахло не лесом и не рекой, а чем-то старым, забытым, будто кто-то открыл чулан, который не проветривали лет пятьдесят.

На другом берегу виднелась деревня. Дома стояли плотно, будто жались друг к другу, чтобы не остаться в одиночестве. Крыши были покрыты потемневшей дранкой, окна — затянуты чем-то вроде мутной плёнки, и даже издали казалось, что дома не смотрят на приезжего, а старательно отводят взгляд.

«Ну да, — подумал Игорь. — Я тут чужой. А чужие тут, видимо, не в почёте».

Он достал блокнот, сделал пометку: «Мост разрушен. До-

ступ только пеший. Река глубокая, течение сильное». Потом добавил внизу, уже для себя: «И, судя по всему, местные не горят желанием нас спасти, если вдруг я туда свалюсь».

Тропа вдоль берега была узкой и скользкой. Камни под ногами будто нарочно выскальзывали из под подошвы, как будто шептали: «Не ходи туда. Тут ничего хорошего». Игорь стиснул зубы и пошёл дальше.

Деревня встретила его тишиной. Не той уютной, когда все просто спят, а той, от которой волосы на затылке встают дыбом, потому что тишина эта слишком ровная, слишком правильная — будто её специально выстроили, как стену.

Ни лая собак. Ни крика петуха. Даже ветер, казалось, обходил деревню стороной, чтобы не нарушить эту зловещую гармонию.

У первого дома на заборе висел пучок сухих трав, перевязанный чёрной ниткой. На калитке — угольный крест, нарисованный так небрежно, будто его ставили в спешке, но при этом он был идеально ровным, как будто кто-то провёл линию не рукой, а лезвием.

Игорь постучал. Три раза. Громко, официально, последовательно.

Тишина ответила ему эхом собственного стука, которое прокатилось по деревне и вернулось обратно, будто сказало: «Ты слышишь? Тут никто не откроет».

Но дверь всё-таки скрипнула.

На пороге стоял старик. Высокий, сутулый, с лицом, изре-

занным морщинами так глубоко, будто кто-то пытался вывести на нём карту всех его грехов. Он смотрел не на Игоря, а куда-то чуть левее, будто боялся встретиться с ним взглядом.

— Чего надо? — спросил старик без злости, скорее по привычке.

— Я следовательно, — Игорь достал удостоверение, хотя и понимал, что в этом месте корочки МВД вряд ли кого-то впечатлят. — Прибыл по поводу исчезновения семьи Петровых. Отец, мать, трое детей.

Старик медленно кивнул, будто уже знал, что этот разговор случится.

— А... — протянул он. — Значит, город всё-таки вспомнил, что мы тут есть.

— Мы не забываем, — сухо ответил Игорь.

— Да нет, — старик чуть наклонил голову, и в его голосе проскользнула странная, почти издевательская усмешка. — Просто вы вспоминаете только тогда, когда кто-то пропадает. А пока все на месте — можно и забыть.

Игорь почувствовал, как по спине пробежал холодок, и это был не от сырости.

— Где мне найти старосту? — спросил он, стараясь говорить твёрдо.

— Он везде и нигде, — ответил старик, и на секунду Игорю показалось, что тот сейчас рассмеётся, но лицо старика осталось каменным. — Спроси у дороги. Она знает.

— У дороги? — переспросил Игорь, уже начиная подо-

зреть, что сарказм тут не в моде, зато безумие — вполне себе местный диалект.

— Ага, — кивнул старик. — Или у реки. Или у просеки. Тут всё разговаривает. Просто не все умеют слушать.

И с этими словами он закрыл дверь. Щёлкнул засов, и дом будто выдохнул с облегчением: «Ну вот, теперь можно снова притворяться пустым».

Игорь постоял ещё минуту, глядя на тёмное окно, в котором не было ни намёка на свет, и вдруг заметил на подоконнике маленькую тряпичную куклу. Без лица. С руками, скрученными в тугие узлы.

«Сувенир?» — мелькнула мысль.

Но что-то подсказывало, что это не сувенир. Это предупреждение.

Он пошёл дальше по улице, стараясь ступать твёрже, чтобы не выдать дрожь в коленях. Дома смотрели на него пустыми окнами, и казалось, что за каждым стеклом кто-то затаился и ждёт, когда он пройдёт мимо, чтобы снова выглянуть.

На перекрёстке стояла покосившаяся лавка, а рядом — куча старых газет, сваленных в бесформенную гору. Игорь наклонился, чтобы разглядеть заголовок, и замер.

Газета была свежей. И заголовок гласил: «Семья Петровых пропала без вести».

Только дата стояла вчерашняя.

А ведь он сам только сегодня утром получил это дело.

«Ладно, — подумал Игорь, сжимая кулаки. — Либо тут у

них телеграф работает быстрее МВД, либо я уже опоздал».

В конце улицы, там, где дорога обрывалась и начиналась чёрная просека, стояла женщина. Она не двигалась. Просто стояла и смотрела прямо на Игоря. На ней было простое платье, тёмное, почти чёрное, и платок, туго повязанный под подбородком. Лицо было спокойным, но в этом спокойствии было что-то пугающее — будто она знала все ответы и не собиралась их выдавать.

Когда Игорь подошёл ближе, женщина чуть наклонила голову и произнесла тихо, но так, что слова прозвучали громче крика:

— Ты пришёл искать людей. Но тут люди сами становятся частью места.

— Что это значит? — спросил Игорь, чувствуя, как голос предательски дрогнул.

Женщина улыбнулась. Не зло, не радостно — просто так, будто знала что-то, от чего улыбка была единственным способом не сойти с ума.

— Спроси у тишины, — сказала она. — Она тут самая разговорчивая.

И, развернувшись, пошла прочь, оставляя за собой едва заметный след на мокрой земле. Следы были босыми. И их было три пары. Хотя женщина шла одна.

Игорь стоял и смотрел ей вслед, пока она не исчезла в серой дымке, окутавшей просеку. И только тогда он понял, что не спросил её имени. Да и, наверное, не стоило.

Потому что в таких местах имена — это роскошь, которую могут позволить себе только те, кто собирается отсюда уехать.

А Игорь вдруг отчётливо понял: уехать отсюда будет не так просто.

Глава 2. «Дом, который переваривал»

Дорога к дому Петровых шла через весь посёлок, и каждый метр её был как страница из досье, которое никто не просил Игоря читать, но которое всё равно подсовывали под нос.

Дома по обеим сторонам стояли с закрытыми ставнями, и Игорь готов был поклясться, что за некоторыми из них кто-то дышал. Не люди — люди дышат ровно, с паузами, с кашлем, с шорохом одежды. Это было другое: медленное, глубокое, будто сам дом раздувался и сдувался, как лёгкое, которое забыло, что ему полагается принадлежать живому существу.

«Отличное место для отпуска, — подумал Игорь. — Тихо, природа, дома дышат. Надо будет порекомендовать коллегам. Особенно тем, кто меня сюда отправил».

На заборе дома Петровых висели те же тряпичные куклы, что и у остальных, только здесь их было больше — штук семь, может, восемь. Все без лиц. Но у одной — самой маленькой, висевшей ниже остальных, — руки были не скручены, а раскинуты в стороны, будто она кого-то обнимала. Или молила о помощи. Зависит от того, с какого угла смотреть.

Игорь открыл калитку. Она не скрипнула — наоборот, от-

крылась с противным влажным звуком, будто отлеплялась от рамы, как бинт от раны.

Двор был ухоженным. Слишком ухоженным. Дровяная поленница сложена идеально, ровными рядами, как в музейной экспозиции. Грядки прополоты. Качели у крыльца застыли, но на сиденье лежал детский ботинок. Один. Правый. Маленький, с рисунком — синий динозавр на боку.

Игорь остановился. Ботинок был мокрым, но не от дождя — от чего-то тёмного, что уже подсохло и превратилось в коричневую корку. Он наклонился, не трогая, и почувствовал запах. Медный. Тёплый. Тот самый запах, который ни с чем не перепутаешь, даже если очень хочешь.

Кровь.

«Ну, с возвращением, — сказал он себе. — Вот и первая материальная улика. Детский ботинок в крови. Можно начинать спокойно сходить с ума».

Дверь в дом была не заперта. Не открыта — именно не заперта, будто хозяева вышли на минуту и собирались вернуться. Игорь надел перчатки, толкнул дверь и вошёл.

Запах ударил первым. Не кровь — кровь пахнет снаружи, когда ещё на воздухе. Здесь было другое: густое, сладковатое, тяжёлое, будто кто-то сварил варенье из гнили и оставил его остывать в закрытой кастрюле. Игорь стиснул зубы, дышал через рот и старался не думать о том, что вдыхает ртом то же самое, просто без запаха.

Прихожая была маленькой и тёмной. На крючке висел

мужской плащ — мокрый, будто его только что сняли. На полу — лужица. Игорь посветил фонариком вниз и увидел, что лужица была не от воды. Она была густой и тёмной и тянулась от порога вглубь дома, как дорожка из хлебных крошек, только наоборот — не ведущая куда-то, а уводящая.

«Алиса в Стране чудес, — подумал он. — Только вместо белого кролика — чёрная дорожка. И Страна чудес, судя по запаху, давно протухла».

Гостиная выглядела так, будто жизнь из неё не ушла — а резко замерла, как кадр на паузе. Телевизор выключен, но на экране — отпечаток ладони. Детской, маленькой, испачканной чем-то бурым. На столе — тарелки. Четыре. В одной — недоеденный суп, уже покрытый плесенью. Две — пустые. А четвёртая стояла вверх дном, и под ней, будто приклеенная, лежала фотография.

Игорь перевернул тарелку. На снимке была семья Петровых: отец — крупный, с усами и усталыми глазами, мать — худенькая, с натянутой улыбкой, и трое детей. Мальчик лет десяти, девочка помладше и совсем маленький — года три, не больше. Все смотрели в камеру. Все, кроме маленького. Тот смотрел чуть в сторону, будто заметил что-то за спиной фотографа, и на его лице застыло выражение, которое Игорь видел один раз в жизни — на фотографии из дела о гибели заложников. Не страх. Не удивление.

Узнавание.

«Он что-то увидел, — подумал Игорь. — Кто-то стоял за

спиной того, кто снимал. И этот ребёнок узнал того, кто стоял. Или что-то».

Он перевернул фотографию. На обратной стороне — дата: «12 сентября». И почерк, торопливый, неровный: *«Она сказала, что это ненадолго. Что мы все вернёмся. Что просека нас примет».*

Игорь почувствовал, как пол под ногами будто стал мягче. Не физически — по ощущению, будто дом начал прогибаться под его весом, как живой организм, который проверяет, насколько тяжёл гость и сколько он сможет переварить.

«Хватит метафор, — одёрнул он себя. — Ты следователь. Ты видел трупы. Ты видел горелые тела, ты видел утопленников, ты видел то, что от людей остаётся после трактора. Просто иди дальше».

Он пошёл дальше.

Коридор был узким и длинным, длиннее, чем мог поместиться в доме таких размеров. Игорь насчитал одиннадцать шагов от гостиной до первой двери, хотя снаружи дом выглядел метров на восемь максимум. Он остановился, посмотрел назад — коридор был обычным. Посмотрел вперёд — он тянулся ещё метров на пять, теряясь в темноте.

«Или я ошибся в размерах, — подумал Игорь, — или дом решил, что ему можно немного подрасти».

Стены коридора были покрыты царапинами. Не теми, что оставляют когти — эти были слишком ровными, слишком осмысленными. Кто-то царапал стену ногтями, но не от отча-

нения, а с целью, будто писал. Игорь присветил ближе и увидел: это были слова. Выцарапанные, кривые, но читаемые.

*«МЫ ЗДЕСЬ МЫ ЗДЕСЬ МЫ ЗДЕСЬ МЫ ЗДЕСЬ МЫ
ЗДЕСЬ МЫ»*

И так — вся стена, от пола до пояса, на протяжении всего коридора. Одна и та же фраза, повторённая сотни раз, будто тот, кто царапал, пытался убедить не кого-то другого, а себя.

Игорь провёл фонариком по противоположной стене и замер.

На ней тоже были царапины. Но другие:

*«НЕ СМОТРИ НА НИХ НЕ СМОТРИ НА НИХ НЕ СМОТРИ
НЕ СМО»*

Последнее слово обрывалось — будто тот, кто писал, вдруг перестал писать. Или его заставили.

Первая дверь вела в детскую. Игорь толкнул её и тут же почувствовал, как воздух в комнате стал плотнее, будто вошёл в воду.

Кровать мальчика была застелена. На подушке лежал рисунок: чёрный круг, а вокруг — маленькие фигурки. Человечки. Руки у них были раскинуты в стороны, как у той тряпичной куклы на заборе. Внутри круга — точка. Или глаз. Или дыра. Игорь не мог понять, и от этой невозможности понять стало хуже, чем от любого понятного ужаса.

Кровать девочки была сдвинута к стене, а на стене — отпечатки ладоней. Маленькие. Десятки. Будто она хваталась за стену снова и снова, будто стена была единственным, что

осталось.

Игорь посчитал. Семнадцать ладоней. Все левые — правых не было. Он не сразу понял, почему это страшнее, чем если бы были обе. А потом понял: правой рукой она что-то держала. Всё время. Что-то, от чего не хотела или не могла отпустить.

Он не стал проверять, что именно. Пока не стал.

Третьей кровати не было. Вместо неё — детская манеж-кровать, перевёрнутая и придвинутая к двери, будто ею забаррикадировались. Снаружи.

«Снаружи, — повторил про себя Игорь. — Кто-то забаррикадировал кровать снаружи. Не изнутри детской, а снаружи. Кто-то не хотел, чтобы тот, кто в ней был, вышел».

Он подошёл ближе и посветил фонариком под перевёрнутую кровать. Там, на полу, лежал второй ботинок. Левый. Тоже с динозавром. Тоже мокрый. Но этот — чистый. Ни крови, ни грязи. Будто его аккуратно вымыли и положили.

В рядочек.

Как подношение.

Кухня была последней комнатой на первом этаже, и Игорь почему-то боялся её больше всех остальных. Может быть, потому что кухня — это место, где люди живут. Где готовят, едят, разговаривают, ссорятся, мирятся. Кухня — это сердце дома, и если сердце остановилось, значит, всё остальное — уже потом.

Кастрюля на плите была накрыта крышкой. Игорь не хо-

тел. Он знал, что не хочет. Он знал, что в этом деле бывают моменты, когда лучше не открывать, а записать: «Объект изъят, содержимое направлено на экспертизу». Но ноги уже шли, а рука уже тянулась к крышке, и мозг, тот самый рациональный мозг следователя, который верил в улики, экспертизы и протоколы, кричал: «Не надо! Не надо! Оставь! Уходи!»

Он снял крышку.

В кастрюле, в густой тёмной жиже, плавали волосы. Длинные, светлые — женские. И короткие, тёмные — мужские. И совсем короткие, пуховые — детские. Они были аккуратно срезаны, все, до последнего, и сложены в кастрюле, как в гнезде. Не свалены — сложены. С заботой. С ритуальной точностью, которую невозможно объяснить ни одним из известных Игорю мотивов.

Среди волос лежал зуб. Молочный, с крошечной корневой ножкой. И на нём — бирка. Маленькая, бумажная, на ниточке. На бирке от руки было написано: «Первый».

Игорь поставил крышку обратно. Аккуратно. Закрыв глаза. Открыл. Кастрюля была на месте. Волосы были на месте. Зуб был на месте. Бирка была на месте.

«Спокойно, — сказал он себе. — Спокойно. Ты следователь. Ты профессионал. Ты сейчас выйдешь, позвонишь в отдел, вызовешь группу и будешь ждать на крыльце, пока не приедут нормальные люди с нормальным оборудованием».

Но тут он заметил дверь в подвал. Она была приоткрыта

— совсем чуть-чуть, на толщину пальца. И из неё тянуло тем же сладковатым запахом, только сильнее. Гуще. Будто весь первый этаж был лишь предисловием, а настоящая история — там, внизу.

Игорь посмотрел на телефон. Связи не было. Конечно. Сигнал исчез, как только он вошёл в дом, будто дом его съел. Или попросил отдать добровольно.

«Ты ведь знаешь, что нужно спуститься, — сказал голос в голове. — Ты следователь. Ты не можешь уйти, не спустившись. Ты будешь думать об этом каждую ночь до конца жизни».

— Отлично, — сказал Игорь вслух, и его голос прозвучал чуждо и тонко в этом мёртвом доме. — Просто отлично. Минуту назад я разговаривал с самим собой, а теперь я разговариваю с голосом в голове. Следующий шаг — я начну спорить с домом.

Дом не ответил. Но Игорь готов был поклясться, что стены чуть-чуть сдвинулись. На сантиметр. Может, на два.

Лестница в подвал была деревянной, и каждая ступенька скрипела по-разному — будто у каждой был свой голос, своя нота, и вместе они складывались в мелодию, которую Игорь не хотел узнавать, но узнал. «В траве сидел кузнечик». Детская песенка. Из мультика, который он смотрел в детстве.

Каждая ступенька — нота. Каждая нота — шаг вниз. И с каждым шагом запах становился всё гуще, всё тяжелее, пока не превратился в нечто осязаемое, будто воздух стал ва-

той, пропитанной чем-то, что не должно существовать в мире живых.

Подвал был больше, чем должен был быть. Гораздо больше. Потолок терялся в темноте, а стены уходили в стороны дальше, чем хватало света фонаря. Пол был земляной, утоптаный, и на нём — следы. Много следов. Босых ног. Маленьких и больших. Они шли от лестницы вглубь, в темноту, и пересекались, и накладывались друг на друга, будто десятки людей ходили здесь кругами, снова и снова, по одному и тому же маршруту.

Игорь шагнул с последней ступеньки и почувствовал, как земля под ногой подалась — мягкая, податливая, как мясо. Он посветил вниз. Земля была тёмной. Не чернозёмной — тёмной от пропитанности. И влажной. И тёплой.

«Нет, — подумал он. — Нет, нет, нет».

Он пошёл по следам. Фонарь дрожал в руке, и тени метались по стенам, как обезумевшие актёры на сцене без зрителей. Следы вели к центру подвала, и там, в свете, который Игорь не хотел включать, но включил, потому что следователи не уходят, не увидев, —

— была яма.

Нет. Не яма.

Груда.

Она была сложена, как поленница: аккуратно, ровно, ряд за рядом. Тела лежали друг на друге, и каждое было завернуто в белую ткань — старые простыни, наволочки, занавес-

ки, — будто кто-то заботливо укутал каждого, прежде чем положить в общий ряд. Лица были закрыты. Руки сложены на груди. Ноги — ровно, вместе.

Но ткань не могла скрыть очертания. Маленькие — совсем маленькие, детские. Средние — подростковые. Большие — взрослые. И их было много. Десятки. Может — больше. Игорь не считал. Он не мог считать. Его мозг отказался считать, будто защита сработала раньше, чем он успел понять масштаб.

«Это не Петровы, — подумал он, и эта мысль была страшнее всех предыдущих. — Петровы — пятеро. Здесь — гораздо больше. Это не одно преступление. Это — урожай».

Запах ударил снова, и на этот раз Игорь не удержался — его вывернуло. Он согнулся, упёрся рукой в стену, и стена была тёплой и мягкой. Он отдёргнул руку и увидел на ладони отпечаток — не свой. Чужой. Маленький. Детский. Стена хранила отпечатки, как фотография.

Он выпрямился, вытер рот рукавом и осветил фонарём вглубь подвала. Груда тел уходила в темноту, и у самого края света, там, где темнота начинала сгущаться в нечто плотное и почти осязаемое, стоял стул.

На стуле сидела одна из них.

Женщина. Та самая, с перекрёстка. Она сидела ровно, руки на коленях, глаза открыты. Она не была мертва — она дышала, медленно и ровно, и смотрела прямо на Игоря с выражением, которое он не мог и не хотел называть.

— Кто это? — спросил Игорь, и голос его был хриплым и тонким, как у человека, который кричал очень долго и очень тихо.

— Это урожай, — ответила женщина спокойно. — Мы собираем его каждый год. Как капусту. Как картошку. Люди растут — мы снимаем.

— Вы убиваете их?

— Мы не убиваем, — она чуть наклонила голову, и тень от её волос легла на стену, но тень была неправильной — слишком длинной, слишком живой. — Мы принимаем. Они отдают. Это не насилие. Это — договор.

— Какой договор?! — Игорь шагнул вперёд, и земля чавкнула под ногой. — Дети не заключают договоры! Дети не выбирают смерть!

— Дети не выбирают, — согласилась женщина. — За них выбирают матери. А матери — выбирают мы. А мы... — она помолчала, и в тишине подвала Игорь услышал, как земля под ногами дышит, медленно и ровно, будто что-то под ней, глубоко, далеко, тоже участвует в разговоре. — Мы выбираем просеку. А просека выбирает лес. А лес выбирает болото. А болото выбирает то, что под ним. А то, что под ним... — она улыбнулась, и улыбка была единственным светлым пятном в этом подвале, и от этого становилось в сто раз страшнее. — Оно выбирает нас.

Игорь стоял перед ней, и ноги его не двигались, не потому что он боялся — он боялся, да, но не поэтому. Ноги не

двигались, потому что земля держала его. Мягко, нежно, как руки матери, которая укладывает ребёнка спать.

— Ты ведь чувствуешь? — спросила женщина. — Земля уже держит тебя. Она добрая. Она не торопится. Она просто... знакомится.

Игорь посмотрел вниз. Земля вокруг его ботинок была рыхлой и тёмной, и из неё — тонкими белыми нитями — тянулись корни. Белые, гладкие, живые. Они обвивали его ботинки, поднимались к щиколоткам, и там, где они касались кожи, было тепло.

Он рванулся. Корни не поддались. Он потянулся к пистолету, но рука не слушалась — или слушалась, но медленно, будто двигалась в воде.

— Не торопись, — сказала женщина. — Ты же ещё не сказал «да». А мы не берём без согласия.

— Я не скажу «да»! — крикнул Игорь, и крик его ушёл в стены, и стены поглотили его без эха, без отзвука, будто дом съел звук, как едят конфету — быстро и с удовольствием.

— Все так говорят, — ответила женщина. — Сначала. А потом... потом становится тихо. И спокойно. И не страшно. Потому что страх — это когда ты ещё можешь уйти. А когда не можешь — страх уходит. Остаются только тишина. И мы.

Игорь закрыл глаза. Открыл. Подвал был на месте. Груда была на месте. Женщина была на месте. И корни были на месте — они поднялись до колен, и от них шло тепло, и тепло было хорошим, и от этого хотелось плакать, потому что

ничто хорошее не должно так чувствоваться в подвале, полном тел.

«Думай, — приказал он себе. — Думай. Ты следовательно. Ты не труп. Ты не урожай. Ты — следовательно, и у тебя есть пистолет, есть фонарь, и есть — был — напарник, который не захотел ехать с тобой, потому что сказал: Туда не едут, туда уходят.

Чёрт. Может, он был прав».

Игорь не знал, сколько прошло времени — минуту, час, вечность. Корни поднимались медленно, но не останавливались. Женщина сидела и молчала, и молчание её было разговорчивее любых слов.

А потом — сверху, из кухни — раздался звук. Тихий. Чистый. Детский смех.

Игорь повернул голову. Женщина — тоже. И впервые за всё время на её лице мелькнуло нечто похожее на удивление.

— Этого не должно быть, — сказала она тихо. — Дети не возвращаются. Дети — первыми.

Смех повторился. Ближе. Над лестницей.

И Игорь вдруг понял: тот, кто смеялся, спускался.

Глава 3. «То, что спускалось»

Смех был неправильным.

Не в том смысле, что детский смех не может звучать в подвале, полном трупов, — это, конечно, тоже было «неправильно», но Игоря к тому моменту уже трудно было удивить банальным абсурдом. Смех был неправильным изнутри, как мелодия, сыгранная на полтона выше, чем нужно: те же ноты, тот же ритм, но что-то смещено, и от этого смещения всё тело говорят «беги», хотя мозг ещё не понимает, от чего именно.

Игорь знал, как смеются дети. Его дочери было семь, когда она умерла, — воспаление лёгких, три дня в реанимации, и последнюю фразу которую она сказала, было: «Пап, а почему доктор такой грустный?» — и Игорь ответил: «Он просто устал», — и это была первая ложь в его жизни, которую он не смог себе простить. Но смех — он помнил смех. Дети смеются коротко, отрывисто, будто им не хватает воздуха от счастья. Этот смех был длинным, тягучим, без пауз на вдох, будто тому, кто смеялся, воздух был не нужен.

Корни на ногах дрогнули. Ослабли? Нет — просто замерли, будто прислушались, как собака, которая слышала шаги за дверью.

— Что это? — спросил Игорь, обращаясь к женщине, но уже зная, что ответ будет хуже вопроса.

Женщина не ответила. Она впервые не выглядела спокойной — её лицо не выражало страх, нет, скорее раздражение, как у повара, у которого тесто поднялось не в той кастрюле. Она медленно встала со стула, и Игорь заметил, что корни, которые держали его, отползли от неё на несколько сантиметров, будто и они не хотели оказаться у неё на пути.

— Оставайся тут, — сказала она, и голос её изменился — стал ниже, глуше, будто из горла шёл не один голос, а два, и второй шептал что-то своё, непере译имое.

— Альтернативы у меня, прямо скажем, нет, — процедил Игорь, глядя на свои ноги, опутанные белыми нитями. — Стою тут, как ёлка на площади. Разве что игрушек не хватает.

Женщина не оценила юмор. Она двинулась к лестнице — медленно, но с уверенностью существа, которое привыкло, что дорога расступается перед ним. Земля под её босыми ногами не чавкала, не проминалась — будто несла её, как вода несёт лодку.

И тут Игорь увидел тени.

Они были на стене — за спиной женщины, — и их было три. Три тени от одного тела. Одна — обычная, повторяла её силуэт. Вторая — длиннее, вытянутая, будто свет падал с двух сторон одновременно. А третья — третья была детской. Маленький силуэт с короткими ручками и круглой головой, и он двигался в противофазе: когда женщина шагала вперёд, детская тень шагала назад, к Игорю.

«Это не её тень, — понял Игорь, и мысль была ледяной, как вода из колодца в январе. — Это чья-то тень, которая к ней привязана. Как привязан ребёнок к матери. Или как привязана жертва к тому, кто её выбрал».

Женщина поднялась по лестнице. Ступеньки больше не скрипели — не потому что она ступала легче, а потому что дом замолчал, будто испугался. Игорь остался один, в подвале, с грудой тел и фонарём, свет которого начал желтеть, как старая фотография.

Корни держали, но не крепко. Не так, как минуту назад. Будто их внимание переключилось — как у собаки, которая держит кость, но слышит, что на кухне уронили колбасу.

Игорь дёрнул правую ногу. Корни скрипнули, как тугая верёвка, но поддались — на сантиметр, на два. Он дёрнул левую. Поддалась лучше. Белые нити тянулись за ботинками, неохотно разжимая объятия, как пальцы спящего, из рук которого вынимают предмет.

«Давай, — подумал он. — Давай, пока они отвлеклись. Ты следовательно, ты не удобрение, ты не урожай, и если эти твари думают, что можно похоронить человека в его же собственных ботинках, — они плохо знают московских следователей».

Он рванул обеими ногами одновременно, и корни лопнули с влажным звуком — будто порвали сырое мясо. Боли не было. Было ощущение, как будто из-под кожи вытянули иголки — множество мелких, тонких, которые впивались

так мягко, что он их не чувствовал, и только теперь, когда они ушли, почувствовал: сотни крошечных точек на щиколотках, горячих, как укусы, и каждая — с каплей крови.

Игорь не стал рассматривать. Он бросился к лестнице.

Ступеньки скрипели по-другому — не в мелодию, а в крик, каждая нота выше предыдущей, будто лестница кричала на него, ругалась, требовала вернуться. Игорь бежал, не обращая внимания, и когда выскочил в кухню, первое, что он увидел, — была вторая женщина.

Она стояла у плиты. Не та, с перекрёстка, — другая. По-старше, может, под пятьдесят, но лицо — гладкое, без морщин, как у фарфоровой куклы, которую не вынимали из коробки. Она помешивала что-то в кастрюле — не в той, с волосами, а в другой, из чистого белого эмалированного металла, — и помешивала не ложкой.

Палец. Её собственный палец, который она опустила в кипящую жидкость, и палец не варился, не обгорал, а двигался по кругу, медленно и аккуратно, и жидкость булькала и булькала, и цвет у неё был — розовый. Как молочный коктейль с клубникой. Только запах — не клубничный.

— А, — сказала женщина, не оборачиваясь. — Ты встал. Хорошо. Мы думали, ты дольше лежишь.

— Кто «мы»? — Игорь попятился к двери, но ноги не слушались — не из-за корней, а из-за того, что колени стали ватными, как у человека, который увидел что-то настолько невозможное, что тело решило притвориться мёртвым, пока

опасность не уйдёт.

— Мы — это мы, — ответила женщина просто, будто объясняла ребёнку, что небо голубое. — Нас трое. Ты видел одну. Сейчас видишь вторую. Третью ты увидишь, когда будешь готов.

— Я не хочу видеть третью.

— Никто не хочет. Но она всё равно приходит.

Женщина обернулась, и Игорь увидел её глаза. Они были разного цвета — один тёмный, почти чёрный, а второй — белый, мутный, как варёное яйцо. Но оба были живыми, оба смотрели на него, и в мутном глазу — белом, слепом — Игорь увидел отражение. Своё отражение. Только в этом отражении он был не в кухне, а в яме, в подвале, завёрнутый в белую ткань, с закрытым лицом и сложенными на груди руками.

«Она видит, что со мной будет, — понял Игорь. — Или она видит то, что хочет, чтобы я увидел. Или и то, и другое».

— Уходи, — сказала она. — Через заднюю дверь. Мы отпускаем. Пока.

— «Пока»? — переспросил Игорь, уже двигаясь к выходу. — Что значит — «пока»?

— Это значит, — она снова отвернулась к плите, и палец её продолжал помешивать розовую жижу, — что просека запомнила твой запах. И просека — терпеливая. Она может ждать год. Два. Десять. Но однажды ты вернёшься. Все возвращаются. Не потому что мы зовём. А потому что тут оста-

лось что-то твоё. Что-то, без чего ты не сможешь.

Игорь не стал спрашивать, что именно. Он толкнул заднюю дверь и вывалился во двор, в серый дневной свет, который был таким бледным и жидким, что казался скорее воспоминанием о свете, чем самим светом.

Двор был не тем, каким Игорь его оставил. Поленница — та самая, идеально сложенная — была разобрана. Дрова лежали на земле, и из каждого полена торчало что-то белое, тонкое, изогнутое. Игорь подошёл ближе, и ноги его сами остановились, будто упёрлись в невидимую стену.

Из поленьев росли кости. Маленькие. Детские. Тонкие, как карандаши, и такие же белые. Они пробивались сквозь дерево, как ростки через почву, — медленно, неотвратимо, и на концах некоторых уже формировались суставы, крошечные пальцы, ногти.

«Дом кормит их, — подумал Игорь, и мысль была не его, а чья-то чужая, вставленная в голову, как ложка в банку. — Дом кормит их деревом, и они растут, и когда дорастут — встанут и пойдут».

Он не стал проверять. Он побежал.

Калитка. Улица. Деревня.

Игорь бежал по посёлку, и дома по обеим сторонам больше не притворялись пустыми. В окнах горел тусклый, рыжий свет, и за стеклами двигались силуэты — медленные, плавные, как рыбы в мутной воде. Стук в одно окно. В другое. В третье. Игорь бежал и стучал, и кулаки его саднили, и никто

не открывал, потому что в этом месте люди не открывали, а наблюдали, и наблюдение было их способом участия: не помочь, не помешать, а смотреть, как смотрят на закат — с тупым, отстранённым восхищением перед тем, как темнота поглощает всё.

— Откройте! — кричал он. — Следователь! Помогите!

Стекло в одном окне треснуло — не от удара, а от голоса, будто крик Игоря был слишком тяжёлым для тонкого стекла. И через трещину, изнутри, на него посмотрел глаз. Один. Без лица, без бровей, без века — просто глаз, мокрый и блестящий, как камень на дне реки, и зрачок его был не круглым, а вертикальным, как у змеи.

Глаз моргнул — медленно, снизу вверх — и окно погасло.

«Отлично, — подумал Игорь, уже не иронизируя, а констатируя. — Местные — не люди. Или были людьми, но перестали. Или делают вид, что перестали, чтобы выжить. И я не знаю, какой вариант страшнее».

На перекрёстке, где раньше стояла лавка с газетами, теперь стоял человек. Мужчина. Молодой, лет двадцати пяти, в телогрейке и резиновых сапогах, с лицом, на котором читалась такая густая, вязкая тоска, что Игорь на секунду остановился, потому что это лицо было человеческим, и человеческое после змеиных глаз и фарфоровых масок показалось ему спасением.

— Ты из города? — спросил мужчина. Голос был хриплым, тихим, как у человека, который давно не разговаривал,

потому что говорить было не с кем.

— Следовательно, — кивнул Игорь, тяжело дыша. — Костин. Игорь Костин. Ты кто?

— Витька, — ответил мужчина. — Меня тут все знают. И тебя уже знают. Просека сказала.

— Просека сказала? — Игорь почувствовал, как внутри, под рёбрами, что-то холодное сжалось в кулак. — Просека... разговаривает?

Витька посмотрел на него, и в его глазах было то самое выражение, которое Игорь видел на фотографии маленького Петрова — не страх, не удивление. Узнавание.

— Просека не разговаривает, — сказал Витька. — Просека показывает. Она показала мне тебя. Ещё вчера. Когда ты ещё ехал. Я видел, как твоя машина по мосту. Мост ведь развалился, а ты всё равно прошёл. Просека пустила.

— Пустила?

— Мост развалился не сам. Его развалили. Чтобы другие не приехали. А тебя — пустили. Потому что ты нужен.

— Кому нужен?!

Витька опустил голову, и Игорь увидел на его шее — под воротом телогрейки — тонкую полоску. Белую, как корень. Она уходила под кожу, и кожа вокруг неё была прозрачной, и под ней, в венах, текло не красное, а белое — молочное, густое.

— Им, — сказал Витька. — Троим. Старшей, Средней и Младшей. Старшая — та, что на перекрёстке стояла. Сред-

няя — та, что на кухне. А Младшая...

— Что — Младшая?

Витька поднял голову, и из его глаз текли слёзы. Не обычные — белые, густые, как молоко. Они катились по щекам и застывали, как капли воска, и Витька не вытирал их, будто не замечал.

— Младшая — та, что смеялась. Та, что по лестнице спускалась. Она... она не как другие. Старшая и Средняя — они ведьмы. Они были женщинами, потом стали другими. А Младшая... Младшая родилась такой. Она никогда не была человеком. Она — то, что просека вырастила из всех этих детей, из всех этих тел, из всех этих костей в поленьях. Она — урожай, который собрал сам себя.

Игорь почувствовал, как мир под ногами стал тонким. Не в метафорическом смысле — физически, будто он стоял на коре, под которой была пустота, и пустота эта дышала, и шевелилась, и ждала, когда кора проломится.

— Где она сейчас? — спросил Игорь, и голос его был твёрдым, но внутри уже ничего не было — ни страха, ни злости, ни решимости, только огромная, звенящая пустота, как в комнате, из которой вынесли всю мебель.

— Идёт за тобой, — сказал Витька. — Она медленная. Но она не устаёт. И она знает твой запах. Ты был в подвале, и земля взяла твою кровь — из тех укусов на ногах. Теперь она знает, какой ты на вкус. И она будет идти, пока не найдёт.

Игоря обернулся.

Улица была пустой. Дома, окна, заборы, тряпичные куклы. Всё как было. Но между домами, в том пространстве, которое обычно остаётся незаметным — между забором и кустом, между стволом и стеной, между тенью и тенью — было движение. Не силуэт. Не фигура. Просто — движение, как дрожание воздуха над асфальтом в жару, только тут был холод, и дрожание шло от холода, и внутри этой дрожи было что-то маленькое, детское, и оно улыбалось.

Игорь не видел улыбки. Он её слышал — губами, которые не шевелились, и голосом, который не звучал, и всё равно он слышал, и слышал слова, и слова были простыми:

«Я иду. Я иду. Я уже близко. Ты ведь чувствуешь тепло? Это я. Я всегда тёплая. Земля меня согрела. Все вы меня согрели. Папа согрел. Мама согрела. Братик согрел. Сестрёнка согрела. И ты согреешь. Ты ведь хочешь? Все хотят. Земля такая тёплая. И тихо. И не больно. И я буду рядом. Всегда. Я никуда не уйду. Я ведь не могу уйти. Я — это вы. Все вы. И ты — это я. Сейчас».

Игорь побежал.

Не к мосту — к мосту было далеко, и он знал, что мост не пропустит, что просека закроет дорогу, как закрывает книгу. Он побежал к реке, потому что вода — единственное, что не держат корни, и единственное, что не помнит запаха, потому что вода смывает всё.

Витька крикнул ему вслед:

— Не у реки! У реки третья! Средняя — в доме, Старшая

— на просеке, а Младшая — в воде! Все три — части одного! Они делят место: одна на земле, одна в доме, одна в воде! Если в воде — то Младшая!

Но Игорь уже не слышал. Или слышал, но не остановился, потому что останавливаться означало слушать слова в голове, а слова становились всё громче, всё теплее, всё роднее, и от этого родства хотелось лечь, закрыть глаза и просто... остаться.

«Нет, — думал он, бежал, задыхаясь, спотыкаясь о корни, которые лезли из земли, как пальцы утопающего. — Нет, нет, нет. Я не урожай. Я следователь. У меня дочь. Она умерла, но я помню её смех — настоящий, короткий, с паузами на вдох. Не этот. Не этот. Не этот».

Река была близко. Он чувствовал влагу в воздухе, видел серебро воды между деревьями, и деревья здесь были другими — не чёрными, как уголь, а обычными, берёзами, с белыми стволами, и от этой обычности хотелось плакать, потому что обычное означало, что мир ещё существует, что где-то есть Москва, и отдел, и протоколы, и экспертизы, и горячий кофе из автомата на третьем этаже, и всё то, что было настоящим, и что он, может быть, больше никогда не увидит.

Он выскочил к берегу.

Река была тихой. Тихой слишком. Течение есть, но звуков нет, будто вода течёт без трения, без касания берегов, будто она не часть мира, а декорация, нарисованная на холсте, и под ней — что-то другое.

И в воде, в отражении, Игорь увидел.

Себя. Но не просто себя — себя, стоящего рядом с маленькой девочкой. Девочка держала его за руку. Она улыбалась. Она была белой — не бледной, а белой, как молоко, как корень, как воск, и глаза её были закрыты, но она видела, Игорь знал, что она видела, потому что её рот открывался и закрывался, и слова шли из него, как пузырьки из воды:

«Папа».

Игорь остановился.

Потому что голос был голосом его дочери. Той, которая умерла. Той, которую он потерял. Той, чьего смеха он не слышал семь лет и по которой скучал так, что иногда не мог дышать.

«Папа. Я тут. Я нашла тебя. Земля согрела меня, папа. Мне не больно. Мне хорошо. И ты ложись. Ложись, папа. Земля тёплая. Я рядом. Я всегда рядом».

Игорь стоял на берегу, и ноги его не двигались, и руки не двигались, и мир стал тихим, очень тихим, и в этой тишине не было ничего, кроме голоса, и голос был правильный, и тёплый, и родной, и от этого хотелось лечь, просто лечь, в воду, в землю, в тишину, и не вставать, потому что вставать незачем, и идти некуда, и всё, что было важно, — здесь, внизу, в тёплой, мягкой, принимающей темноте.

Корни уже поднялись до колен. Они были тёплыми. Они были нежными. Они были — руками. Маленькими, детскими, с крошечными пальцами, которые гладили его ноги и

шептали: «Ложись, ложись, ложись».

И в последней вспышке — не разума, нет, скорее памяти, потому что разум уже ушёл, ушёл в тепло и тишину — Игорь вспомнил лицо своей дочери. Настоящее. Живое. С веснушками на носу и с одной оторванной пуговицей на кофте, которую она не давала пришить, потому что «так красивее».

И в этом воспоминании не было тепла просеки. В нём был холод больничной палаты, и гудение аппаратов, и рука дочери, маленькая, горячая, которая сжимала его палец и отпустила.

Отпустила.

Игорь закричал. Не от страха — от ярости. Дикой, звериной, бессловесной, потому что слова были не нужны, потому что это была не та дочь, и не тот голос, и не то тепло, и если что-то в этом мире и имело право на его тишину — то только настоящая, мёртвая, непоправимая боль, а не эта дешёвая, тёплая, липкая подделка, которая ласкала корнями и шептала «папа» голосом, украденным из его головы.

Он рванул ноги из корней, и корни лопнули, и из них брызнуло белое, как молоко, и закипело на воздухе, как кислота. Он побежал вдоль берега, не зная куда, не видя дороги, просто — прочь, от воды, от отражения, от голоса, который звал его «папа» и не имел на это права.

Витька нашёл его через два часа. Сидящим на пне, в километре от деревни, на тропе, которая вела в никуда. Игорь был бледным, руки дрожали, на щиколотках — белые точки,

как следы от сотен укулов, и из каждого сочилась сукровица, тонкая, как нить.

— Выжил, — сказал Витька, и в голосе его было удивление, и что-то ещё, может, уважение, может, жалость. — Немногие выживают, если Младшая начала звать.

— Она не моя дочь, — сказал Игорь, и голос его был пустым, как комната. — Она украла голос. Из моей головы. Она читает нас, как книги, и говорит тем, что находит внутри.

— Знаю, — кивнул Витька. — Она всех читает. Всех зовёт. По-своему. Меня звала мамой. У меня мамы нет — умерла, когда я был маленький. Младшая знает. Просека ей говорит. Просека — это... — он замолчал, подбирая слово, и нашёл только одно: — память. Просека — это память земли. Она помнит всех, кто тут умер, и кормит Младшую этой памятью, и Младшая растёт, и учится, и скоро...

— Скоро — что?

Витька посмотрел на него, и слёзы снова потекли — белые, густые, восковые.

— Скоро она станет взрослой. И тогда уйдёт из просеки. Выйдет в мир. В ваш мир. В город. И будет звать. И все услышат своих мёртвых. И все захотят лечь. И лягут. И земля примет. Всех.

Игорь молчал.

Витька сел рядом.

— Тебе надо уйти. Пока она маленькая. Пока только зо-

вёт, но не может дотянуться. Когда вырастет — дотянется. До всех. Везде. Она ведь не ведьма, понимаешь? Ведьмы — те две, Старшая и Средняя — они были людьми. Их можно убить, может. Не знаю как, но можно. А Младшая... Младшая — не человек. Она — урожай. А урожай нельзя убить. Урожай можно только собрать.

— А если не собрать? — спросил Игорь.

Витька не ответил. Он смотрел на просеку, которая темнела за деревьями, и в его глазах, человеческих, тоскливых, живых, отражалось то, что Игорь не мог увидеть, но мог почувствовать: в центре просеки, под землёй, что-то шевельнулось. Что-то маленькое, белое, тёплое. Что-то, что училось говорить «папа» голосом мёртвых девочек и «мама» голосом мёртвых матерей, и «сынок» голосом мёртвых отцов, и училось так старательно, так нежно, так по-настоящему, что мир, может быть, не выдержит.

Потому что ведьмы — это инструмент.

А Младшая — это цель.

И цель уже почти выросла.

Глава 4. «Та, которая осталась»

Игорь проснулся от того, что кто-то гладил его по волосам.

Не корни — корни были на ногах, и Игорь уже научился их отличать: они двигались снизу вверх, медленные, тёплые, с разговорами. Это было сверху. Пальцы. Человеческие. Холодные, тонкие, с коротко стриженными ногтями и мозолью на среднем — от ручки, не от лопаты, не от топора, от самой обычной шариковой ручки, которой пишут так много, что кожа запоминает форму.

Игорь открыл глаза.

Над ним стояла женщина. Молодая, лет тридцати, с короткой стрижкой и лицом, которое когда-то было красивым — правильные скулы, тёмные брови, тонкий нос, — но теперь было чем-то другим. Не уродливым. Не больным. Другим. Как фотография, которую слишком долго держали на солнце: контуры на месте, цвета — на месте, но всё сдвинуто на полтона, и от этого сдвига лицо казалось маской, которую надели на маску, а ту — на третью, и под всеми тремя было что-то, что не имело лица.

— Доброе утро, — сказала женщина. — Или вечер. Я тут потеряла счёт времени примерно на четвёртом месяце. Или пятом. Не помню. Здравствуйте.

Игорь сел. Они были в избе — не в доме Петровых, в дру-

гом, маленьком, с покосившимися стенами и потолком, который провисал так, будто на нём кто-то спал. На полу — спальный мешок, потёртый, но чистый. Рядом — ноутбук, закрытый, с разорванным зарядным устройством, обмотанным изолентой так тщательно, будто от этого зависела чья-то жизнь.

— Кто вы? — спросил Игорь, и рука его автоматически потянулась к пистолету. Пистолета не было. Кобура была пуста, а на месте, где должен был лежать пистолет, лежал маленький белый камень, гладкий, как голыш, и тёплый, как печка.

— Не ищите, — сказала женщина. — Просека его взяла. Она любит металл. Особенно блестящий. Ваш пистолет, мои ключи от машины, мой телефон — всё ушло в землю в первый день. Я даже не заметила как. Просека не крадёт — она обменивает. Даёт вам камешек вместо вещи. Тёплый, уютный, «ничего страшного, вам ведь он нужнее, правда?» — и вы соглашаетесь, потому что камень и правда тёплый, и в нём есть что-то... милое.

Игорь выронил камень. Тот упал на пол и не покатился — остался на месте, будто прилип, и Игорь готов был поклясться, что камень чуть-чуть повернулся, как будто устраивался по удобнее.

— Журналистка? — предположил он, глядя на ноутбук и мозоль на пальце.

— Марина Соколова, — кивнула женщина. — «Регио-

нальная газета». Материал про исчезновения в северных деревнях. Приехала год назад, в прошлом сентябре. Написала половину статьи, потом... — она замолчала, и в тишине Игорь услышал, как за стеной что-то дышит — не дом, не печка, что-то, что дышит по-другому, с паузами, как будто принюхивается. — Потом просека решила, что мне нужно остаться. Статья, знаете ли, не была ей интересна. Просека не читает. Просека — слушает. И ей не понравилось, что я слушаю тоже.

— Год, — повторил Игорь. — Вы здесь год?

— Триста семьдесят два дня, если точно, — Марина улыбнулась, и улыбка была болезненной, как скрип несмазанной двери. — Я считала. Сначала на стенах — царапала гвоздём. Потом стены кончились. Потом считала на бумаге. Потом бумага кончилась. Потом — в голове. А потом голова стала... не надёжной. Просека в неё залезает. Не всегда — но когда я считаю, она считает со мной, и иногда сбивает меня, и я не знаю, триста семьдесят два или четыреста, или это уже не дни, а что-то другое, что просека измеряет не так, как мы.

Игорь посмотрел на неё — внимательно, последовательно, цепким взглядом, который привык замечать то, что люди пытались скрыть: синяки под глазами, обломанные ногти, губы, обкусанные до крови, и — белую полоску на шее. Как у Витьки. Только у Марины она была тоньше, будто корень вошёл неглубоко, или вошёл и отступил, или вошёл и ждал.

— Вы тоже, — сказал Игорь, указывая на шею.

Марина прикрыла полоску ладонью — жест автоматический, как у курильщика, который прячет сигарету, когда видит начальника.

— Да, — сказала она тихо. — Все, кто тут остаётся, получают. Это не... это не метка. Это привязка. Как брелок на ключах. Просека вешает вам свой брелок, и вы — её. Только брелок — внутри. И растёт.

— Витька сказал, что ведьмы — это Старшая и Средняя. А Младшая — урожай.

Марина вскинулась — резко, как от удара.

— Витька? Он ещё жив?

— Жив. С белыми слезами и корнем в шее. Что — он должен был умереть?

— Все должны были, — Марина опустила глаза, и голос её стал совсем тихим, как человек, который говорит сам с собой в пустой комнате и давно перестал стесняться этого. — Я видела, как просека берёт людей. Сначала — мягко. Корень, привязка, тёплый голос в голове. Потом — сильнее. Голос становится громче, теплее, роднее. Потом — не отпускает. Люди ложатся. Не все сразу — по одному. Сначала те, кто слабее. Дети — первые. Потом старики. Потом — те, кто устал бороться. А потом...

— А потом?

— А потом остаются ведьмы. Старшая была учительницей. Мария Петровна. Преподавала в школе — в той, что за просекой, из красного кирпича, сейчас от неё один фунда-

мент остался. У неё была дочь. Дочь умерла — утонула в реке. Мария Петровна сошла с ума, но не по-обычному. Она сошла с ума правильно, в нужную сторону. Просека нашла её, когда та сидела на берегу и разговаривала с мёртвой дочерью. И просека ответила. Голосом дочери. И Мария Петровна... поверила. Или захотела поверить. И просека взяла её — не тело, а что-то глубже. Заменяла. Вынула одно и вставила другое. И вот — Старшая.

Игорь слушал, и по спине шёл холод — не от слов, а от того, как Марина их говорила: ровно, спокойно, без дрожи, как человек, который уже прошёл через весь страх и вышел с другой стороны, где страха нет, но нет и ничего другого — только знание, голое, костяное, без кожи.

— А Средняя? — спросил он.

— Средняя — Зинаида. Фельдшер. Приехала из города, молодая, веселая, с чемоданом лекарств и уверенностью, что может всех вылечить. Не смогла вылечить даже себя. Просека взяла её через руки — Зинаида любила руками работать, шить, вязать, и просека послала корни через её пальцы, и пальцы стали другими. Теперь она варит. Тот розовый отвар, который вы видели на кухне, — это Зинаида. Она варит его из людей. Не из тел — из того, что просека из них вынимает. Память, страх, любовь — всё в котёл, и варит, и розовая жижа — это... я не знаю, что это. Но они её пьют. Все трое. И просека тоже пьёт — корнями, из земли, всасывает, как губка.

— А Младшая? — Игорь задал вопрос, который боялся задать.

Марина молчала долго. За стеной дышащее нечто перестало дышать — или затаилось, или ушло, или просто ждало, как кошка ждёт мышь, которая думает, что спряталась.

— Младшую я видела один раз, — сказала Марина. — В марте. Было ещё темно, и я пошла к просеке — глупо, да, но я думала, что если уйду на рассвете, просека не увидит. Она увидела. Я дошла до края просеки и увидела, что земля дышит. Не трясётся — именно дышит, как грудная клетка, вверх-вниз, и на каждом вдохе земля приподнималась, и из-под неё шло тепло, и в тепле был запах — не гнили, нет, чего-то сладкого, как хлеб, как мёд, как молоко. И в этом тепле, в этой сладости, я увидела её.

— Какая она?

— Белая, — Марина сглотнула, и горло её дёрнулось, как у человека, которого тошнит от воспоминания. — Совсем белая. Не кожа — вся. Как будто её вылепили из теста, или из мела, или из лунного света, если лунный свет может быть плотью. Глаза закрыты. Рот — открыт. Она лежала в земле, как в колыбели, и корни держали её — не привязывали, нет, качали, как мать качает ребёнка. И она... росла. На моих глазах. Я стояла — может, минуту, может, час — и за это время её руки стали длиннее на палец. Ноги — на полпальца. Волосы — белые, как снег — отросли до плеч. Она росла, как растение, но быстро, как будто весь урожай просеки — все

эти люди, все эти дети — был удобрением, и она впитывала его, и росла, и...

Марина замолчала и посмотрела на Игоря. В её глазах было что-то, что он узнал — не потому, что видел раньше, а потому что чувствовал то же самое: тоску по миру, в котором вещи были простыми. Где пистолет — пистолет, а не жертва просеки. Где камень — камень, а не тёплый утешительный паразит. Где тишина — тишина, а не голос мёртвых, зовущий лечь и не вставать.

— Она меня услышала, — прошептала Марина. — Я стояла и смотрела, и она... повернула голову. Глаза были закрыты, но она знала, что я тут. И она сказала — не ртом, не голосом, а прямо в голову, как иголку под ноготь: *«Ты тоже останешься. Ты ведь хочешь написать обо мне. Пиши. Я буду твоим материалом. Лучшим в твоей жизни. Последним»*.

И знаете что? — Марина засмеялась, и смех был сухой, как треск осенних листьев. — Она была права. Это лучший материал в моей жизни. Я не могу его написать, потому что ноутбук сдох три месяца назад, и руки дрожат, и каждое слово, которое я набираю, просека читает и поправляет. Но он — лучший. Потому что он — последний. И от этого хочется смеяться и плакать одновременно, а просека не понимает слёз, но понимает смех, и когда я смеюсь, она замирает, как будто смех — единственное, чему она не может научиться, и это, может быть, единственное, что нас ещё отличает.

Игорь встал. Ноги болели — белые точки на щиколотках

воспалились, покраснели, и вокруг каждого укуса кожа стала тонкой и прозрачной, как папиросная бумага, и под ней — не кровь, а что-то белое, молочное, медленно текущее по венам.

— Это началось, — сказала Марина, глядя на его ноги. — У меня — на третий месяц. У вас — на первый день. Она торопится. Значит, скоро.

— Скоро — что?

— Скоро вы услышите свой самый любимый голос. Голос человека, которого вы потеряли и по которому скучаете так, что не можете дышать. И голос скажет вам то, что вы хотите услышать. И вы захотите лечь. И ляжете. И земля примет. И Младшая вырастет ещё на один палец. И станет ещё на один голос ближе к тому, чтобы выйти из просеки.

Игорь вспомнил реку. Отражение. Голос дочери. «Папа, ложись».

— Уже слышал, — сказал он. — У реки. Она говорила голосом моей дочери.

Марина закрыла глаза.

— Тогда у вас мало времени. Может — день. Может — меньше. Корни уже внутри. Белое уже в венах. Она уже знает ваш вкус, ваш голос, вашу боль. Ей осталось одно — чтобы вы сказали «да». Не вслух — в голове. Одно короткое, тихое «да», и всё.

— Я не скажу.

— Все говорят. Витька говорил «нет» шесть месяцев. Потом сказал. Я слышала — из-за стены. Тихо, как выдох: «хо-

рошо». Одно слово. И всё.

— Витька — жив. Он ходит, говорит, —

— Витька — удобрение, — перебила Марина, и голос её стал жёстким, как верёвка, на которой вешают бельё. — Он ходит, потому что просека ещё не готова его взять. Она держит его, как фермер держит свинью — кормит, греет, ждёт, пока не наступит срок. Он не живой, Игорь. Он — ходячий запас. Как и я. Как и вы. Все мы тут — ходячий запас. Просто некоторые ещё не знают.

Игорь подошёл к окну. Стекло было мутным, затянутым чем-то серым, как плёнка на старом супе, и сквозь неё мир казался размытым, будто нарисованным акварелью, которую нечаянно пролили. Деревня была на месте — дома, заборы, куклы, — но между ними, в тех промежутках, которые утром были пустыми, теперь стояли люди. Молча. Ровными рядами, как поленница. Лица — тёмные, не различимые. Они стояли и смотрели на избушку, в которой были Игорь и Марина, и не двигались, и от этого не-движения веяло такой нечеловеческой, механической, собранной волей, что Игорь понял: это не жители. Это — свидетели. Просека выстроила их, как зрительский зал, и ждала представления.

— Они приходят каждый вечер, — сказала Марина, не оборачиваясь. — Стоят. Смотрят. В семь — уходят. По расписанию. Просека любит порядок. Она педантичная, как бюрократ, и терпеливая, как могильщик. Если бы у неё было имя, я бы назвала её Кларой. Клара — это имя, которое од-

новременно звучит как библиотекарь и как топор.

— Вы ещё шутите, — сказал Игорь, и в его голосе было не осуждение — зависть.

— Шучу, — подтвердила Марина. — Это единственное, что ей не нравится. Когда я шучу, она... замирает. Как будто пытается понять, и не может. И в этой секунде — когда она не понимает — я свободна. На секунду. На одну маленькую, смешную, никому не нужную секунду. И я держусь за неё, как за перила над пропастью.

Игорь обернулся. Марина сидела на спальном мешке, подтянув колени к подбородку, и выглядела маленькой, как ребёнок, и старой, как это место, и одновременно — живой, так живо, что было больно смотреть, потому что живое здесь было приговором.

— Мне нужно выбраться отсюда, — сказал он. — Не для себя. Если Младшая вырастет — она выйдет в мир. В город. К людям. Она будет звать — голосами их мёртвых. И люди лягут. Все.

— Я знаю, — сказала Марина. — Я знаю это уже год. И каждый день думаю: если бы я могла уйти — я бы предупредила кого-то. Но я не могу уйти. Просека держит. Не корнями — нет, корни можно порвать. Она держит — тишиной. Тем голосом в голове. Тем теплом, которое приходит ночью, когда ты устал бороться, и шепчет: «Зачем? Зачем идти? Там — боль. А тут — тихо. Тут — я».

Она помолчала.

— Но вы — можете. Может быть. Вы ведь следователь. Вы привыкли к мёртвым. Вы знаете, что мёртвые — мертвы, и голос мёртвого — это голос чужого, надевшего чужое лицо. Вы это знаете головой. Мне нужен кто-то, кто знает это головой, потому что я знала это головой, а потом голова стала... не моя.

— А чья?

Марина подняла руку и показала на свою голову — медленно, будто показывая на рану.

— Её. Младшая тут. Не всегда — но часто. Она садится внутри, как в кресло, и читает мои воспоминания, как книгу, и поворачивает страницы, и останавливается на самом страшном, и читает вслух — моим голосом, мне в уши. И я слушаю себя, рассказывающую себе о том, как моя мать умирала, и как я не успела, и как телефон зазвонил, когда я была в метро, и как я вышла на следующей станции и села на лавочку и не плакала, потому что не верила, и верила, но не плакала, и потом плакала, и потом — нет. И Младшая читает это — моим голосом, с моими интонациями, с моими паузами, — и от этого я перестаю понимать, где я, а где она, и кто из нас вспоминает, а кто — рассказывает.

Игорь стоял посреди избушки, и план — рациональный, следовательский, с пунктами и подпунктами — складывался в голове, и тут же разваливался, потому что все пункты начинались со слов «если я смогу», а «если» было роскошью, которую в этом месте не давали даром.

— Марина, — сказал он. — Тропа. Дорога к мосту. Если я пойду по ней —

— Моста нет, — перебила Марина. — Но есть другое. Школа. Красная, кирпичная, за просекой. Там — подвал. Под школой — туннель. Старый, довоенный, выходит к реке на два километра выше по течению. Если пройти — можно обойти просеку и выйти на трассу.

— Откуда вы знаете?

— Я журналист, — Марина впервые улыбнулась по-настоящему, и улыбка была кривой, болезненной, но живой. — Мы всегда находим туннели. Это профессиональное. Мы влезаем туда, куда не надо, и потом не вылезаем. Иногда — буквально.

— Вы не пошли?

— Не смогла. Просека пустила корень через порог школы. Я дошла до двери — и остановилась. Ноги не пошли. Не отказали — просто не пошли, как будто решили: «Нет, сюда мы не идём, тут нам не нравится». Просека не запирает двери. Она делает так, что ты сам не хочешь войти. Это изящнее. И страшнее.

Игорь посмотрел на свои ноги. Белые точки. Белое в венах. Ноги, которые когда-то не захотят войти в школу, потому что просека решит, что ей нужен ещё один пальчик Младшей, и ноги согласятся, потому что корень уже внутри, и корень — это не враг, корень — это часть, и часть не спорит с целым.

— Вы пойдёте со мной? — спросил он.

Марина посмотрела на него — долго, внимательно, как смотрят на человека, которого видят впервые и последний раз.

— Попробую, — сказала она. — Но если я остановлюсь у двери — не ждите. Если я остановлюсь — значит, она зовёт, и я... Я скажу «да», Игорь. Я знаю это. Я уже почти говорю. Каждый вечер я лежу и слушаю тишину, и тишина говорит голосом моей матери, и мать говорит: «Маринка, ну что ты мучаешься? Ложись, доченька, ложись. Я тут. Мне одной скучно. Ложись». И я... — голос её сломался, как ветка, и из трещины пошло не слово, а звук — короткий, мокрый, как кашель утопающего. — И я каждый вечер говорю «нет». Но «нет» становится всё тише. А «да» — всё громче. И однажды...

— Не сегодня, — сказал Игорь. И сам не знал — утверждение это или просьба.

— Не сегодня, — повторила Марина, и в её глазах, на дне, под слоем усталости и тоски, мелькнуло что-то, что Игорь узнал: упрямство. Глухое, тупое, нерациональное упрямство существа, которое не уходит не потому, что может уйти, а потому, что уходить — значит сдаться, а сдаваться она не умеет, даже когда всё тело говорит «да».

«Хорошо, — подумал Игорь. — Хотя бы одно упрямое существо в этом аду. Этого мало. Но это — начало».

Они вышли на крыльцо. Вечер спускался на деревню —

не как темнота, а как вода, медленно, снизу, поднимаясь по стволам деревьев, по стенам домов, по ногам тряпичных кукол, пока не затопит всё, и в этой тёмной воде будут плавать только глаза — змеиные, мокрые, наблюдающие.

Люди-свидетели ушли. Ровно в семь, как Марина и сказала. Просека пустела, и пустота была такой абсолютной, что казалось — не людей убрали, а сам воздух сгустили, убрали из него всё, что было живым, и оставили только форму, оболочку, коробку без содержимого.

Тропа к школе шла через просеку.

Игорь остановился на краю. Просека была чёрной — не тёмной, а именно чёрной, как провал, как дыра в мире, в которую проваливается свет и не возвращается. Деревья вокруг стояли мёртвые, гладкие, без коры, и их стволы были такими ровными, будто их обточили на токарном станке, и от этой геометрической точности веяло чем-то похуже любого хаоса — веяло замыслом.

— Не смотрите долго, — сказала Марина. — Просека любит, когда смотрят. От внимания она растёт. Как растение — к свету. Только её свет — это взгляд.

Игорь отвёл глаза. И заметил, что у его ног, на тропе, лежит маленький белый камешек. Тот самый — из кобуры. Он прикатился из избушки, через крыльцо, через двор, и лёг у ноги, как собака, которая просит: «Возьми. Возьми, он тёплый. Тебе ведь нравится тепло?»

Игорь раздавил его каблуком.

Камешек хрустнул — не как камень, а как кость. Изнутри потекло белое, густое, и зашипело на земле, и земля вокруг зашипела в ответ, и из неё полезли корни — тонкие, быстрые, злые, как осы, и Игорь отпрыгнул, и корни схватили пустоту, где его нога была секунду назад, и сжались, и стянулись в узел, и узел стал твёрдым, как кулак, и застыл.

— Она сердится, — прошептала Марина. — Вы сломали её подарок. Она не любит, когда ломают подарки.

— Я тоже не люблю, когда мне дарят куски себя и pretending, что это внимание, — ответил Игорь, и нога его уже ныла, но ныла правильно, по-человечески, и от этой правильной боли стало легче, потому что человеческая боль — это «нет», а тёплая тишь просеки — это «да», и он ещё был на стороне «нет».

Школа стояла за просекой — красный кирпич, почерневший от времени, с пустыми окнами, как глазницы, и дверью, которая была открыта. Не распахнута — приоткрыта, на ширину тела, будто ждала кого-то конкретного, и Игорь был именно того размера.

Марина остановилась в десяти шагах от двери. Лицо её побелело, и белая полоска на шее стала ярче, толще, и пульсировала, как вторая вена.

— Не могу, — сказала она. Голос был ровным, без паники, без слёз. Просто — факт. Как «сегодня вторник» или «вода мокрая». — Ноги не идут. Она зовёт. Голосом мамы. Мама говорит: «Не ходи туда, Маринка. Там темно. Там страшно.

Иди ко мне. Ложись рядом. Я так устала одна».

Игорь протянул руку. Не героический жест — просто руку, как протягивают человеку, который оступился на льду.

— Марина. Ваша мать умерла. Вы это знаете. Она не может звать. Это не она.

— Я знаю, — кивнула Марина, и слёзы потекли — не белые, обычные, прозрачные, живые, и от этого стало понятно, что она ещё человек, ещё целиком человек, и корень в шее — не победил, а просто стоит в очереди. — Я знаю головой. Но голова тут не главная. Тут главная — земля. И земля говорит иначе.

— Возьмите меня за руку. И идите. Один шаг. Один.

Марина посмотрела на его руку. Потом — на дверь. Потом — снова на руку.

Она взялась. Рука была ледяной и дрожала, как у человека, который держится за перила над пропастью, и знает, что перила — последние.

Она шагнула.

И земля под ногой — не дрогнула. Корни не вылезли. Стены не сдвинулись. Просто — тишина стала на полтона глуше, будто кто-то убавил громкость мира, и в этой полутоновой тишине было что-то, что Игорь не мог назвать, но чувствовал: удивление. Просека удивилась. Не сердилась, не пугалась — удивилась, как существо, которое привыкло, что никто не приходит, и вдруг — кто-то пришёл.

Они вошли в школу.

Школа была маленькой — четыре класса, учительская, кухня, туалет. На стенах — доски, исцарапанные именами, задачами, рисунками. В одном классе, на полу, мелом была нарисована игра — «классики» — и в последней клетке, там, где должно было быть слово «небо», было написано другое. «земля».

В учительской, на столе, лежала тетрадь. Толстая, в линейку, с обложкой, на которой от руки было написано: «Журнал посещаемости. 2 класс». Игорь открыл. На каждой странице — дата, имена учеников, отметки. Последняя запись — 12 сентября. Как на фотографии у Петровых. И в колонке «отметка» у всех учеников стояло одно и то же: «отдан».

— Здесь была Старшая, — сказала Марина. — Мария Петровна. Она учила детей. Потом — отдавала. Просека приходила за ними в школу, через подвал, через туннель. Дети спускались — и не поднимались. А Мария Петровна ставила в журнале «отдан», будто это была оценка. Будто это было нормально. Будто «отдан» — это не смерть, а — перевод в другой класс.

Игорь закрыл тетрадь. Руки не дрожали. Дрожать было некогда.

— Где подвал?

Марина показала в конец коридора. Дверь — железная, ржавая, с замком, который был не заперт, а перевязан корнем. Белым, гладким, живым корнем, который обвивал замок, как змея, и от замка шёл внутрь, в дверь, и дальше —

вниз.

Игорь потянул за корень. Тот не поддался. Он потянул сильнее, и корень скрипнул, и из него потекло белое, и Марина отвернулась, и Игорь понял — она не может. Не может смотреть, как он ломает то, что просека вырастила, потому что просека чувствует боль своих корней, и боль эта передаётся всем, кто привязан, и Марина, с её белой полоской, — привязана.

— Ломай, — сказала Марина, не оборачиваясь. — Я выдержу.

Игорь сломал корень. Оба. И белый, и тишину, и что-то ещё — что-то, что не имело названия, но было связано с просекой тоньше, чем корень с деревом, — и дверь открылась.

За ней — лестница. Вниз. В темноту, из которой тянуло холодом, и этот холод был настоящим, не тёплым, не ласковым, просто — холодом, и от него ломило скулы, и от этого холода Игорь впервые за весь день почувствовал что-то похожее на радость, потому что холод — это не просека. Просека — тёплая. А холод — это мир. Настоящий, равнодушный, не желающий тебе добра мир, который не зовёт и не держит, а просто — есть.

— Идёмте, — сказал он.

Марина стояла у двери. Белая полоска на шее пульсировала. Глаза были закрыты. Губы шевелились — беззвучно, будто она спорила с кем-то невидимым, и спор был неравный, потому что невидимый говорил голосом матери, а Ма-

рина отвечала своим, и её голос был тише.

— Я не могу, — сказала она. И добавила — тихо, как признание, как последняя честность: — Я не хочу. Я хочу остаться. Она зовёт так... так тепло... Игорь, вы не понимаете. Это не страх. Это хуже страха. Это — желание. Настоящее. Как жажда. Как голод. Как...

— Как любовь, — закончил Игорь.

Марина открыла глаза. В них было то, чего он боялся больше трупов, больше корней, больше змеиных глаз: благодарность. Она смотрела на него так, будто он сказал что-то, что она давно хотела услышать, и от этой благодарности Игорь понял: она уже почти ушла. Ещё минута, ещё один шёпот мёртвой матери — и Марина ляжет, прямо здесь, на полу школы, и закроет глаза, и улыбнётся, и белая полоска на шее поглотит последнюю краску её лица, и просека получит ещё одну порцию — ещё немного памяти, страха, любви, — и Младшая вырастет ещё на полпальца.

— Марина, — сказал Игорь, и голос его был тихим и жёстким, как лезвие ножа, завёрнутое в тряпку. — Ваша мать — умерла. Моя дочь — умерла. Мы не можем вернуть их. Но мы можем не дать этому... вскрытию, этой пародии, этой твари, которая носит их лица, — забрать ещё чьих-то детей. Вы — журналист. Вы приехали сюда, чтобы написать правду. Так пишите. В голове, на стенах, на полу — где угодно. Но не ложитесь. Не сейчас. Не после того, как вы уже сломали корень на двери. Вы сломали один — сломайте второй.

Тот, что в шее.

Марина посмотрела на него. И — шагнула.

Земля под ней дрогнула. Стены школы дрогнули. Что-то — глубоко, под фундаментом, под туннелем, под рекой, под всем — дрогнуло, и дрожь была не землетрясением, а звуком, низким, утробным, который Игорь не услышал, а почувствовал — подошвами, позвоночником, зубами.

Просека зарычала.

Не голосом. Не звуком. Тишиной — такой густой, что она стала плотной, как вода, и в этой воде Игорь не мог дышать, и Марина не могла, и оба стояли, задыхаясь, у открытой двери в подвал, и тишина давила, и давила, и давила, и —

— Идём, — выдохнул Игорь, и голос его был хриплым, тонким, как нить, на которой висит последний лист на зимнем дереве.

Они спустились.

Туннель был старым — кирпичные своды, сырые стены, лужи на полу, и от луж шёл пар, будто земля дышала отсюда, как из дыхательного горла. Игорь шёл первым, фонарь — мертвый, телефон — мёртвый, и единственным светом был холод, белый, мертвенный, который шёл откуда-то спереди, как свет из открытого окна в конце коридора.

Марина шла за ним, и каждый шаг давался ей, как шаг по минному полю — медленно, с остановками, с дрожью, и белая полоска на шее горела, как верёвка, на которой висят, и Игорь слышал, как она шепчет: «Нет, нет, нет, нет, нет»,

— и «нет» было как шаг, и шаг был как «нет», и каждый — отодвигал её от просеки на один кирпич туннеля, на одну лужу, на один вздох.

Просека не отпускала.

Корни лезли из стен — белые, гладкие, быстрые, и они тянулись к Марине, как пальцы утопающего, и Марина вскрикивала, когда они касались, и Игорь отрывал их, отламывал, и они ломались с влажным хрустом, и из них текло белое, и белое шипело на полу, и лужи пузырились, и пар становился гуще, и туннель — длиннее, и свет впереди — ближе.

— Осталось немного, — сказал Игорь, и не знал, правда ли.

— Она зовёт, — ответила Марина, и голос её был уже не её — в нём был второй, третий, четвёртый, как хор, в котором каждый голос принадлежит мёртвому, и все они говорят одно: «Останься».

— Нет, — сказал Игорь. — Нет, нет и ещё раз нет. Это вам, Марина. Не ей. Вам. Скажите «нет». Громче. Чтобы она слышала. Чтобы просека знала, что вы — не урожай.

Марина закричала. Не от боли — от ярости. Дикой, звериной, как у существа, которого тащат в клетку, и оно рвёт клетку зубами, потому что когтей уже нет, но зубы — есть, и зубы — это «нет», и «нет» — это зубы, и она кричала, и крик её нёсся по туннелю, как поезд, и корни отступали, и стены дрожали, и что-то под землёй — что-то маленькое, белое, тёплое — замерло, и в этом замершем была тишина, и

в тишине — удивление, и в удивлении — страх.

Потому что Младшая впервые услышала «нет», сказанное так громко, что её собственный голос дрогнул.

И в этом дрожании — была трещина. Маленькая, тонкая, как волос. Но — трещина.

Свет впереди стал ярче. Холоднее. Живее. Игорь ускорил шаг, и Марина — за ним, и корни отстали, и туннель кончился, и они вышли.

Река. Берег. Настоящий — с травой, с камнями, с холодным ветром, который бил в лицо, как пощёчина, и от этой пощёчины Игорь заплакал, потому что холодный ветер — это мир, настоящий, живой, жестокий, но не ласковый, не тёплый, не зовущий, и от этого плакать было хорошо.

Марина упала на колени и уткнулась лицом в траву, и трава была мокрой и холодной и пахла землёй, обычной землёй, без голосов, без тепла, без привязки.

Они выбрались.

Игорь стоял на берегу, и руки его дрожали, и щиколотки горели, и белое в венах было — но медленнее, тише, будто отдалилось, будто просека не могла дотянуться так далеко, и голос в голове — голос дочери — стал глуше, как радио, у которого садятся батарейки.

— Мы вышли, — сказал он.

— Временно, — ответила Марина, и голос её был снова её, только её, и хриплым, и больным, и живым. — Она не отпускает. Она ждёт. Она ведь — терпеливая. Но мы — вы-

шли. Сейчас. Сегодня. Этой ночью. И завтра — может быть, тоже. И после.

Она подняла голову. На шее — белая полоска — стала тоньше. Может, на миллиметр. Может, показалось. Но — тоньше.

И Igor посмотрел на реку, и в воде не было отражения, кроме настоящего — серое небо, серая вода, и два силуэта на берегу, живых, дрожащих, упрямых, и за ними — туннель, который вёл в деревню, и деревня была тиха, и в тишине, далеко-далеко, под просекой, под землёй, что-то маленькое и белое лежало в колыбели из корней и слушало, и училось, и ждало, и росло.

И в его голове — тоньше, чем нить, чем волос, чем трещина — прозвенел голос:

«Ты ушёл. Но я запомнила. Я умею ждать. Я умею долго. И когда-нибудь ты услышишь меня снова — не во сне, не в бреду, а наяву, в толпе, в метро, на кухне, в тишине своей квартиры, — и ты не будешь знать, откуда голос. И ты прислушаешься. И я скажу: „папа“. И ты ответишь. Потому что ты соскучился. А я — терпеливая. Я — урожай. А урожай всегда собирают».

Игорь сжал кулаки.

— Не сегодня, — сказал он вслух.

И холодный ветер унёс слова в серое небо, и небо не ответило, и в этом не-ответе была своя, мёртвая, спасительная свобода.

Глава 5. «Дорога, которая не хочет отпускать»

Они думали, что самое страшное — это деревня. Что самое страшное — просека, школа, корни, голоса в голове. Они ошибались. Самое страшное начиналось ровно там, где кончалась просека.

Потому что мир за её пределами был... неправильным.

Сначала Игорь не понял. Он шёл по лесу, и ветки цеплялись за куртку, и комары звенели в ушах, и земля пружинила под ногами — всё как в обычном лесу. Только слишком. Слишком ветки, слишком комары, слишком земля. Будто кто-то выкрутил настройки природы на максимум, чтобы скрыть, что внутри всё сломано.

Марина шла следом, тяжело дыша, и время от времени останавливалась, чтобы прижать ладонь к шее — туда, где белела полоска. Она ничего не говорила, но Игорь видел: ей больно. Не физически — будто внутри неё кто-то дёргал за невидимые нити, и каждый рывок отзывался в горле, в груди, в затылке.

— Ещё немного, — сказал Игорь, хотя сам не знал, сколько «немного». — Тут должна быть дорога. Трасса. Мы вышли к реке выше по течению, значит, трасса — на запад. Километра три-четыре.

— Три-четыре километра — это много, — тихо ответила Марина. — Особенно когда земля не хочет, чтобы ты их прошёл.

Игорь хотел спросить, что она имеет в виду, но не успел. Лес просто... кончился. Не постепенно, не полянкой, не опушкой — резко, как обрезанный ножом. Перед ними встала стена из елей — таких одинаковых, таких идеально ровных, будто их не природа растила, а кто-то сажал по линейке. И за этой стеной — тишина. Не лесная тишина, с шорохами и птицами, а мёртвая, плотная, как вата, забившая уши.

— Это не та сторона, — прошептала Марина. — Мы шли на запад, а вышли... куда-то.

Игорь достал компас. Старый, дедовский, в латунном корпусе. Стрелка дрожала, как живая, металась между севером и югом, потом вдруг замерла — и указала... вниз. Прямо в землю.

— Очень смешно, — процедил Игорь. — Очень по-деревенски.

Он шагнул в сторону, пытаясь обойти стену деревьев. Марина пошла за ним. Они шли пять минут. Десять. Полчаса.

И снова вышли к той же стене. К тем же идеально ровным елям. К тому же компасу, который снова показывал вниз.

— Мы ходим по кругу, — сказала Марина, и в её голосе не было паники — только усталое признание факта. — Но мы не кружим. Мы идём прямо. Я чувствую. Шаги одинаковые. Поворот ни разу не делали. А выходим сюда.

— Просека, — выдохнул Игорь. — Она не просто держит деревню. Она... растянула её. Как кожу на барабане. И мы всё ещё внутри.

Марина села на поваленное дерево. Лицо у неё было серым, как пепел.

— Тогда мы не выйдем, — сказала она. — Пока она этого не захочет.

Игорь не ответил. Он смотрел на компас, и стрелка вдруг дёрнулась — и на секунду показала на восток. На настоящую, честную сторону света. Игорь успел заметить. И рванул туда, почти бегом, таща за собой Марину, потому что если она остановится, если сядет и скажет «я больше не могу», он знал — она уже не встанет.

Они бежали. Лес менялся. Деревья становились тоньше, стволы — кривыми, будто их гнуло ветром, которого не было. Земля под ногами становилась мягче, как губка, и при каждом шаге из-под ботинок вырывались маленькие облачка белой пыли. Пыль оседала на куртках, на волосах, на ресницах, и Игорь чувствовал, как она липнет к коже, как хочет остаться.

Потом начался туман.

Не обычный, не утренний, а густой, молочный, непрозрачный. Он не стелился по земле — он стоял стеной, как занавес, и как только они в него вошли, звуки исчезли. Не стало ни ветра, ни шорохов, ни даже их собственных шагов. Только дыхание — хриплое, тяжёлое, как у загнанных зверей.

— Не отпускай, — вдруг сказала Марина, хватая Игоря за рукав. — Если я отпущу — я потеряюсь. Даже если ты будешь в метре от меня, я тебя не увижу. И не услышу.

— Я не отпущу, — пообещал Игорь. И сам себе не поверил, потому что в этом тумане слово «обещание» звучало как шутка.

Они шли. Минуты тянулись, как резина. Или не минуты — часы. Или вообще не время. Время в этом месте не работало. Оно лежало где-то в стороне, сломанное, и никто не собирался его чинить.

Туман начал меняться. В нём появились силуэты. Не люди — просто очертания, размытые, дрожащие, как отражения в воде. Они двигались, но не к Игорю и Марине — мимо, параллельно, будто шли по своим делам, не замечая чужаков. И от этого было страшнее: будто они попали в чужой мир, где есть свои правила, свои дороги, свои жители, и для этих жителей Игорь и Марина — просто помехи, которые рано или поздно уберут.

Один силуэт остановился. Повернулся. У него не было лица — только пустота, серая, как туман, и из этой пустоты тянулся холод, такой сильный, что у Игоря зубы застучали сами собой.

— Не смотри, — шепнула Марина, закрывая ему глаза ладонью. — Не смотри, они видят, когда на них смотрят.

Игорь зажмурился. Ладонь Марины была тёплой, настоящей, и он вцепился в неё, как в якорь.

Силуэт прошёл мимо. Холод отступил. Туман снова стал просто туманом.

Но когда Игорь открыл глаза, он понял, что они стоят на дороге.

Настоящая асфальтовая дорога. С разметкой. С обочинной. С дорожным знаком, на котором было написано: «До ближайшего населённого пункта — 12 км».

— Наконец-то, — выдохнула Марина. — Наконец-то...

Она сделала шаг вперёд. И остановилась.

Асфальт под её ногой... прогнулся. Не треснул — именно прогнулся, как ткань, и когда Марина убрала ногу, он медленно вернулся на место, как будто был живым.

— Это не дорога, — сказал Игорь. — Это... имитация.

Он пнул камень, лежавший на обочине. Камень подпрыгнул — и исчез. Просто растворился в воздухе, как капля воды на раскалённой сковородке.

— Она даёт нам то, что мы хотим видеть, — прошептала Марина. — Дорогу. Знак. Надежду. Чтобы мы поверили, что выбрались. А потом... потом мы просто забудем, куда шли. И ляжем.

Игорь посмотрел на знак. «До ближайшего населённого пункта — 12 км». И вдруг понял: этот знак стоял у въезда в деревню. Тот самый, с облупившейся краской и птичьим помётом. Он его запомнил, когда въезжал.

— Мы не вышли, — сказал он. — Мы всё ещё там.

И в этот момент туман рассеялся.

Перед ними стояла автобусная остановка. Старая, с облупившейся синей краской, с расписанием, на котором не было ни одного маршрута. И на скамейке сидел человек.

Витька.

Он поднял голову. Глаза у него были обычными — человеческими, без белых слёз. Но на шее... полоска была толще, ярче, будто корень внутри него вырос за эти несколько часов.

— Привет, — сказал Витька. — Я вас ждал.

— Как ты здесь? — спросил Игорь, чувствуя, как внутри всё сжимается в тугую, ледяную комок. — Мы же оставили тебя у просеки.

— Просека ходит быстрее, чем вы думаете, — спокойно ответил Витька. — Она меня... позвала. И я пошёл. Потому что не мог не пойти.

— Нам нужно в город, — сказала Марина. — Срочно. Если мы не выберемся...

— Вы не выберетесь, — перебил Витька, и в его голосе не было злобы — только усталость, такая глубокая, что казалась вечной. — Просека не выпускает. Она даёт вам дороги, знаки, остановки, автобусы, которые никогда не приезжают. Она даёт всё, что вы хотите, чтобы вы остались. И рано или поздно вы остаётесь. Потому что устаёте бороться.

— Но мы не устали, — упрямо сказала Марина.

Витька посмотрел на неё. Долго. Внимательно. И вдруг улыбнулся — криво, горько, как человек, который знает что-

то, чего не знают другие.

— Устали, — сказал он. — Просто ещё не поняли.

Он встал и подошёл к Игорю. Остановился в шаге от него. И протянул руку — не для рукопожатия, а так, будто хотел коснуться его плеча, но в последний момент передумал.

— Слушай, — сказал Витька. — Есть один способ. Старый. Его знали ещё бабки, которые тут жили. Просека — она как паутина. Держит тех, кто в неё попал. Но если разорвать одну нить — самую главную — паутина ослабеет. И можно будет вырваться.

— Какую нить? — спросил Игорь.

— Ту, что связывает Младшую с землёй, — прошептал Витька. — Ту, по которой она растёт. Корни. Много корней. Но один — главный. Он идёт от её колыбели к самому сердцу просеки. Если его перерезать...

— Перерезать? — переспросил Игорь. — Чем?

— Сталью, — сказал Витька. — Обычной сталью. Не золотой, не серебряной, не волшебной. Просто сталью, которая помнит тепло человеческих рук. Нож, топор, даже лезвие бритвы — неважно. Главное, чтобы оно было острым и чтобы человек, который его держит, знал: он делает это не ради себя. Ради других.

— И где этот корень? — спросил Игорь.

Витька опустил глаза.

— В центре просеки, — сказал он. — Под старым дубом. Там, где земля дышит.

— Ты хочешь, чтобы мы вернулись? — Марина почти крикнула. — Туда?

— Да, — спокойно ответил Витька. — Потому что иначе вы никуда не уйдёте. Просека будет водить вас по кругу, пока вы не ляжете. А когда вы ляжете — Младшая вырастет ещё на один палец. И потом ещё. И ещё. Пока не станет взрослой.

Игорь смотрел на Витьку. И понимал: тот не шутит. И не издевается. Он говорит правду. Горькую, невозможную, но правду.

— Хорошо, — сказал Игорь. — Мы вернёмся.

Марина посмотрела на него. В её глазах был ужас. И благодарность. И что-то ещё — то, что бывает у людей, которые знают, что делают что-то безумно глупое, но единственно правильное.

— Только... — добавила она. — Только давай сделаем это быстро. Пока я ещё помню, кто я.

Витька кивнул.

— Быстро, — повторил он. — Потому что время тут тоже не работает. Оно течёт, как вода сквозь пальцы. И каждый миг, что вы медлите, просека становится сильнее.

Они повернулись. И пошли обратно.

Туман снова сомкнулся за их спинами. Дорога исчезла. Остался только лес — кривой, перекошенный, будто его кто-то смял и бросил, не расправив.

И где-то впереди, за деревьями, за туманом, за всеми этими ложными дорогами и остановками, просека ждала. Тер-

пеливо. Спокойно. Как паук, который знает, что муха никуда не денется.

А в центре просеки, под старым дубом, дышала земля. И из этого дыхания рос корень — толстый, белый, живой. И по нему, как по проводу, бежала сила, питавшая Младшую. И пока этот корень был цел, никто не мог уйти.

Никто.

Глава 6. «Сердце, которое бьётся снизу»

Обратно идти было хуже.

Не физически — хотя физически тоже было отвратительно: ноги гудели, белые точки на щиколотках саднили, а левое колено, которое Игорь потянул ещё в туннеле, теперь откликалось на каждый шаг коротким, злым «хрясь», будто внутри кто-то ломал хворост. Нет, физически было терпимо. Физически — это было даже уютно, потому что физическая боль — честная. Она говорит: «вот тут болит, потому что ты бежал, спотыкался и упал, и это нормально, и это пройдёт». Физическая боль — из мира, где ушибы заживают, а переломы срастаются.

Другая боль — та, что из просеки — была нечестной. Она говорила: «вот тут болит, потому что ты ушёл от тех, кто тебя любит. Вернись. Тебе же лучше было. Помнишь, как было тепло?»

И эта боль шла с ними — всю дорогу назад, через кривой лес, через туман, через ложную дорогу, которая снова стала ложной, через автобусную остановку, где Витька уже не сидел, — уходила куда-то в сторону просеки, будто его позвали, и он пошёл, потому что не мог не пойти.

— Он уже не человек, — сказала Марина, глядя на пустую

скамейку.

— Он был человеком четыре часа назад, — возразил Игорь.

— Четыре часа — это много. Для просеки. За четыре часа она может... — Марина замолчала, подбирая слова, и не нашла, и просто махнула рукой, и жест был такой усталый, такой пустой, что Игорь понял: она не может объяснить, потому что слова для этого ещё не придуманы.

Они молчали. Молчание между ними было не тяжёлым и не лёгким — оно было рабочим, как верёвка, которой связывают двоих, чтобы не потеряться: не тёплая, не холодная, просто — связь. Двое людей, которые знают друг друга полдня и уже прошли вместе через вещи, после которых либо становятся родными, либо перестают быть людьми.

Игорь посмотрел на Марину. Она шла рядом, чуть позади, и лицо у неё было то самое — «другое», сдвинутое на полтона, и белая полоска на шее пульсировала ровно, как второй пульс. Но глаза — глаза были её. Тёмные, живые, с морщинами в уголках, которые появились, видимо, ещё в прошлой жизни, когда Марина смеялась над своими же заголовками.

— Марина, — сказал Игорь. — Когда мы дойдём — что вы будете делать?

— Когда мы дойдём до сердца просеки, где нас ждёт наверняка что-то кошмарное, и нам нужно будет перерезать корень, который охраняет... что-то, мы ещё не знаем что, но Витька сказал «сталью», а у нас нет ничего стального, пото-

му что просека забрала ваш пистолет, мои ключи и, кажется, мою способность трезво оценивать ситуацию? — ровным голосом перечислила Марина. — Тогда я, наверное, буду смотреть и пытаться не сойти с ума. А потом — либо мы выберемся, либо нет. И если нет — я хотя бы умру рядом с человеком, который тоже ненавидит командировки.

Игорь невольно хмыкнул. Тихо, коротко, как кашель.

— У меня в бардачке машины был нож, — сказал он. — Складной, стальной, дедовский. Дед рыбаком был. Если машина на месте...

— Машина на том берегу, — перебила Марина. — У моста. А мост — того. «Рожно».

— Чёрт.

— Но, — Марина достала из кармана куртки что-то маленькое, блестящее, — у меня есть это.

Лезвие. Обычное, канцелярское, из тех, что вставляют в резак для бумаги. Ржавое по краю, с обломанным кончиком, но — стальное. Стальное и помнившее тепло рук — Марина носила его в кармане год, как талисман, как последний кусок цивилизации, который просека не забрала, потому что не сочла важным.

— Вы целый год ходили с канцелярским лезвием в кармане? — спросил Игорь. — Серьёзно?

— Я журналист, — пожала плечами Марина. — Мы всегда носим что-нибудь острое. Обычно — язык, но на всякий случай — вот.

Игорь взял лезвие. Маленькое, туповатое, с ржавчиной на срезе. Против просеки, против ведьм, против того, что росло под землёй, — это было как пытаться остановить поезд зубочисткой.

Но это было сталью. И это помнило тепло.

— Ладно, — сказал Игорь, пряча лезвие в рукав. — Зубочистка так зубочистка.

Просека встретила их молча.

Не злая, не приветливая — молчащая, как хозяин, который знает, что гости пришли, и не торопится открывать дверь, потому что дверь откроется сама, когда придёт время. Деревья стояли те же — чёрные, гладкие, без коры, — но теперь, в свете угасающего дня, они казались выше. Выше, чем утром. Будто за те часы, что Игорь и Марина ходили по ложным дорогам, просека подросла — не вширь, а вверх, как будто тянулась к чему-то, что было над ней, или к кому-то, кто должен был прийти.

— Она готовится, — сказала Марина, и голос её был тихим, как шаги по минному полю. — Она знает, зачем мы. Она ждёт.

— Пусть ждёт, — ответил Игорь. — Я тоже умею ждать. Дочь семь лет ждал, что боль пройдёт. Не прошла. Но я ждал. Это, оказывается, единственное, что я умею делать по-настоящему.

Марина посмотрела на него. Не с жалостью — с пониманием, тихим, коротким, как кивок человека, который знает,

что такое потерять, и знает, что «прошло» — это слово, которое не работает, как должно.

— Как её звали? — спросила она.

— Полина, — ответил Игорь. И имя прозвучало странно — не как имя, а как звук, который он не произносил вслух семь лет, и от этого звук был свежим, как рана, которую только что открыли.

— Красивое, — сказала Марина. — Полина. Поля. Звучит как поле. Как что-то открытое, ровное, где нет деревьев.

Игорь не ответил. Но шагнул вперёд — твёрже, будто имя дало ему что-то, чего не давали ни пистолет, ни лезвие.

Центр просеки был ровным кругом — метров десять в диаметре, без единого растения, без единой травинки. Земля — тёмная, утоптанная, гладкая, как пол, — и на ней, в самом центре, стоял дуб.

Не рос — стоял. Как колонна, как столп, как вежа, отметившая место, где мир сделал ошибку и позволил чему-то вырасти. Дуб был огромным — ствол в три обхвата, кора — чёрная, глубокобороздчатая, и в каждой борозде — белое. Корни. Белые, гладкие, живые, они покрывали дуб, как вены, и уходили в землю, и из земли — снова вверх, и в стороны, и вниз, и вся просека была одной корневой системой, одним организмом, одним телом, и дуб — его позвоночник.

— Вот он, — сказал Игорь. — Главный корень.

— Вижу, — ответила Марина. — Вижу и хотела бы не видеть. Как, впрочем, и всё остальное в этом месте.

Игорь подошёл к дубу. Земля под ногами была тёплой — привычно, назойливо тёплой, и от тепла этого хотелось сесть, лечь, закрыть глаза. Он не сел. Он шёл, и каждый шаг был маленьким, личным «нет», и «нет» были его шагами, и шаги — его «нет», и он шёл.

У подножия дуба, из-под главного корня, шёл свет. Не дневной, не лунный, не электрический — другой. Тёплый, золотистый, как свет из окна, перед которым стоит стол с ужином, и за столом сидят люди, которых ты любишь, и они ждут тебя, и ужин не стынет, потому что они знают: ты придёшь.

Игорь остановился. Свет бил снизу, из-под корня, и в этом свете — он видел. Не глазами — чем-то другим, чем-то, что просека будила в нём с самого утра, что-то, что было не разумом и не чувством, а третьим — тем, что человеку не положено иметь, но что просека давала, как яд, который сначала сладок.

Он видел Полину.

Она сидела за столом. Маленькая, семь лет, в своей любимой кофте с оторванной пуговицей, и веснушки на носу, и тарелка перед ней, и она смотрит на него — на Игоря — и улыбается, и зовёт: «Пап, ну где ты? Суп стынет. Пап?»

— Нет, — сказал Игорь вслух. Голос был хриплым, как наждачная бумага. — Нет. Ты не она.

«Пап, я жду. Я так долго жду. Ты ведь обещал прийти. Ты всегда обещаешь и не приходишь. А я жду. Суп стынет, пап.

И я стыну. Ты ведь чувствуешь? Я холодная. Ты сделал меня холодной, потому что не пришёл. Приходи. Ложись рядом. Я тут, под корнем. Я всегда была тут. Ты просто не смотрел вниз».

Игорь зажмурился. Открыл. Полина была на месте. Суп был на месте. Стол был на месте. Всё было на месте, и от этой правильности, от этой точности — веснушки, оторванная пуговица, браслет на левом запястье, который она сняла с руки умершей бабушки и носила, не снимая, — от этой точности хотелось выть, потому что Младшая не угадывала. Она знала. Она видела. Она брала из его головы каждую деталь иставляла напоказ, как фотограф в галерее, и галерея была адом, и билет в ад — любовь.

— Игорь, — голос Марины, отовсюду и ниоткуда. — Игорь, не смотри вниз. Не смотри. Она читает тебя, и всё, что ты видишь — она строит из того, что найдёт внутри. Не смотри.

— Я знаю, — ответил он, и голос его дрожал, и дрожь была не от страха — от ярости, тихой, плотной, как свинец. — Я знаю, что это не она. Но она выглядит... как она. До веснушек. До пуговицы. До браслета. Как будто Полина здесь. Живая. Ждёт меня.

— Она ждёт не вас, — сказала Марина, и голос её был ближе, и рука легла на плечо, холодная, тонкая, с мозолью от ручки. — Она ждёт вашего «да». Вашего согласия. Лечь. Остаться. Стать урожаем. Это не Полина. Это — наживка.

А вы — рыба. И если вы клюнете — она потянет, и леска оборвётся, и вы утонете в земле, и Младшая вырастет ещё на один палец, и ещё один голос — голос вашей дочери — станет её голосом, навсегда.

Игорь отвернулся от света. От стола. От Полины. От супа, который стынет. Каждое движение — как отрыв. Как отдирать бинт от раны, которая приросла, и рана — семилетняя, незаживающая, и бинт — память, и память — единственное, что у него осталось, и он отдирает, и кровь шла, и кровь была красной, настоящей, не белой, и от этого красного — от этого настоящего — он нашёл в себе что-то, что было сильнее тепла просеки: ярость. Не на просеку, не на ведьм, не на Младшую — на себя. За то, что на секунду поверил. За то, что на секунду захотел лечь.

Он подошёл к корню.

Главный корень был толщиной в руку — белый, гладкий, тёплый, и пульсировал, как артерия, и внутри него, белом, густом, текло что-то, что не было соком и не было водой, а было — памятью. Игорь почувствовал это, как чувствуют запах: корень нёс в себе голоса. Сотни голосов. Мужские, женские, детские — все, кого просека взяла, все, кто лёг, все, кто сказал «да» — их последние слова, их последние мысли, их последний выдох — всё текло по этому корню, как по проводу, вниз, к Младшей, и Младшая пила, и росла, и училась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.